

Владимир Шапко

Б И Ч

Повесть

Луньков не спал. Час, наверное, а может быть, и все два. Но стоило только подумать, что надо встать, – внутри все охватывалось мелконькой дрожью. Как охватывается разом листва на деревце от внезапно налетевшего ветерка... Казалось ему, что он не лежит, уткнув лицо в холодную сальную обивку дивана, а – висит. Давно висит в некоем пространстве. Которое рассыпается и рассыпается у него в голове. И в котором время стоит, не движется, меркнет.

Он пошевелил языком, язык был как сухая вехотка. С жалобным тоненьким стоном начал поворачиваться. Диван, как неотъемлемая его часть, тут же взнялся весь и застонал еще жалобней, плаксивей. Набрякшие веки тряслись, боялись выронить глаза. Рука слепо шарила внизу возле дивана графин. Запрокинувшись, пил тухловатую воду. Голова тряслась, зубы колотились о стекло, вода сливалась по подбородку на шею, на грудь. Словно разучившись, долго ставил графин на пол. Рука хваталась и хваталась. Лег, наконец, на спину, шамкая смоченным ртом, зализывая разбитую соленую губу... И снова – будто висел. Вне времени, вне ярящихся на соседней стройке самосвалов и грузовиков, вне стрёкота крана оттуда же, вне людских голосов, вне жизни.

И, как почти каждое утро, заскрежетал в замке ключ. И в Лунькове вновь все затрепетало, затряслось. Зажмурившись, он вдавился в диван. И слушал только пыльные, вздрагивающие пружины.

А Кошелев уже ходил по комнате, совался во все углы, распинывал бутылки. Будто упорно искал что-то на полу. Мелкое, давно утерянное, но не забытое им. Ругался.

– Эй, Заварзин! – грубо трянули Лунькова. – Заварзин! Охрана чертова! Вставай! Опять жрал всю ночь... А может, письма свои писал, а? Заварзин? Ха-ха-ха!

Луньков, колотясь с головы до пяток, еще скидывал ноги с дивана, поспешно садился, а прыгающий взгляд его уже выхватывал валяющийся на столе стакан с пролитой и подсохшей буро-чернильной лужей, резкое серебро килек, перемешанное на тарелке, и, как трубу, высокую темную бутылку из-под портвейна... Тетради на столе не было...

Расстегнувшимся рукавом рубахи Луньков вытирал со лба пот. Как прикрывался грязным этим обтрепанным рукавом. А Кошелев все ржал:

– Что-о? Испугался? Сразу вскочил? А-а! Ха-ха-ха! Да ладно: шутю, шутю, как говорится... Сегодня же день расплаты. А, Заварзин? Шестнадцатое. Забыл?

– Мне бы умыться, Роман Авдеевич... Извините.

– Умойся, умойся. Обожду.

С гадливостью Кошелев поширкал тряпкой засохшую винную лужу. Накинул на нее газету. Только после этого разложил свои бумаги. Протирая платком очки, смотрел на размывшийся в ведомости список фамилий, так же размыто слушал шум воды из коридора, наизнанку выворачивающегося там над раковиной в кашле Заварзина... «Ханурик! Сдохнет тут еще чего доброго...»

Полотенце было уже чернее сапога. Луньков посмотрел и вытер им только руки. Кинул в угол на мешок с театральным тряпьем. Стал искать пуговицу на обшлаге рубахи. Поверх очков Кошелев внимательно наблюдал. Пуговицы не было. Тогда Луньков застегнул две пуговицы на груди. Сел к столу. Кошелев с хохотом крутнул головой: ну алкаш! Пододвинул ведомость, ручку. Ручка сразу начала скакать в руке Лунькова.

– Эко тебя! – наморщился Кошелев. – Да погоди! Не расписывайся!.. На, глотни сперва...

Минут через пять, глотнув из плоской посуды Кошелева, которая, как валидол, всегда была при нем, особенно когда он приходил *за расписями*, Луньков уже шарил вялой рукой окурочек в пустой консервной банке. Пьяно разглядывал фамилии в ведомости:

– Конуров... Шишин... Свирьков... Так, понятно. Новые души. Только что из реанимации. Я – Заварзин. Я по вашим корочкам гениальнейший машинист сцены. Со мной все ясно. А эти? Кем они могли бы быть в миру?.. Конуров... Конечно, народным. Народным артистом. С такой фамилией-то? Непременно. Да и аванс у него однако!.. Шишин... Трудно сказать... Что-нибудь такое: ши-ши-ши – по коридорам. Каждому – на ушко... Свирьков... Свирьков только гримером мог бы быть... Эдаким гримеришкой... Эдаким ма-ахоньким лысым пьяницей...

– Ну хватит! Расписывайся!

Но Луньков не торопился. Окурочек попал в руку сигаретный, сильно замятый, задавленный. Луньков его принялся углубленно расправлять.

– Да на вот! На! – сунул пачку Кошелев.

– Вы же не курите! – деланно удивился Луньков. – А тут смотрите-ка, опять «Стюардесса»! Чудеса-а...

Кошелев скрипнул зубами.

– Ну, вот что, сволота, будешь расписываться или не будешь?

Луньков сразу потух, взял ручку. Следя за протрезвевшим его, злым лицом, за уверенной, злой ручкой, Кошелев подумал: кончать надо с ним, много знает, гад, слишком много...

Выхватил ведомость.

– Вот так-то!.. А это гонорарчик вам, товарищ Заварзин! Ровно четыре рублика...

Кошелев комкал рублевки и – по одной, жеваными – кидал на стол. Одну, вторую, третью, четвертую. За каждую душу отдельно. Три плюс вы, товарищ Заварзин. Четыре мертвых души. У нас как в аптеке!

Луньков не смотрел на него.

У порога Кошелев «вспомнил»:

– Да-а, а как с корочками быть?.. Ну-ка верни, уважаемый, корочки-то... Все забываю...

Луньков сразу вскочил, умоляюще шагнул:

– Ну зачем вы так! Роман Авдеевич! – Как женщина ломал руки: – Я же... и не пошутил даже. Нет! Так просто сказал. Так! Мне ведь в Щекотихе без них – нельзя. Вы же знаете. А там дрова опять пришли. Опять работа. Да и здесь. Ведь сторожу.

Ничего не пропало. И не пропадет, не пропадет! Поверьте!.. Не надо, Роман Авдеевич. Прошу вас... Не надо...

– Смотри... – глянул понизу Кошелев – как перерезал Лунькова. – Знай, с кем шутишь... З-заварзин!..

Хлопнула дверь. Замерев, Луньков слушал бухающую поступь с крыльца. Сердце выпукло возникало за грудиной и пряталось. Выталкивалось и снова пропадало.

* * *

В белесом куцем плащишке и тирольке он появился на крыльце *впритык к одиннадцати*. Пока шарился длинным ключом в мешковине двери, морщась смотрел в небо на мелко сеющий дождик. Затем привычно перевел взгляд на мертвый пустой остов театра, где из черных оконных провалов выкрутился когда-то страшной силы пожар... К театру недавно кинули разудалый забор, за забором сновали люди, дергался, стряхивая песок, самосвал, с разбортованного грузовика скидывали длинные свежие белые доски, высоко подносил бадейки с раствором кран, и все видящей, все запоминающей хозяйкой пыжилась возле бытовки сторожиха... А во дворе Лунькова толстые стопы фанеры давно размокли и настырно «фордыбачились». Валялось всюду содранное с крыш театра кровельное железо. Высокий навал из уцелевших оконных рам и дверей опасно разъехался. И все это мокло сейчас, продолжало гнить, ржаветь. И было непонятно, для чего оно сохраняется здесь... Забор тоже был старый – осклизлый, унылый.

Луньков сутулился, поднимал-поддергивал вороток плаща, пробираясь к калитке.

– Эй, сосед! Погоди-ка!

К забору торопилась сторожиха со стройки. Запыхавшаяся, с чайником.

Поздоровалась, попросила набрать водички. У нас-то водопровода пока нету. Набери, сделай милость.

Луньков сходил, набрал. Когда протягивал полный чайник, качнуло от забора так, что чуть не опрокинулся, оступившись прямо в лужу. Отряхивал брюки, плащ. Избегал глаз сторожихи. А та не уходила, разглядывала его.

– Что-то я тебя не припомню, парень. Ты из какого отряда?

– Я не от вашей... системы... По совместительству...

– А-а... Ну-ну... Уж в случае с водичкой-то, к тебе теперь я...

– Пожалуйста.

Под цепким взглядом женщины Луньков старался лужи обходить деликатно как-то, порядочно, что ли. Однако словно бы тащил за собой только меркнувшее дыхание своих слов: не от вашей я системы, по совместительству...

* * *

Через час сидел у стола, свесив с края вялую руку. Смотрел в окно за забор, где все так же дергался с задраным кузовом самосвал, где все той же, всевидящей кубышкой напыживалась сторожиха... Крепко зажмуриваясь, пил из стакана. Слепым ртом ловил словно бы подвешенную кем-то кильку. Жевал, морщился, икал,

удерживал лезущее назад вино, наливаясь кровью и тут же бледнея. Отирал слезы... Высокими изломанными буквами надергивал в тетради высокие изломанные слова:

...и жизнь моя теперешняя, Люба, – это сплошная ирреальность. Бред, морок. Глухая черная повязка на приговоренном, за которой уже – только сжавшийся на острие иглы весь мир... Прости, прости мне эту пошлую метафору, но она все время теперь во мне. Ползает, давит, душит... Прости...

Раскинувшись, он полулежал на диване, точно сломанный в груди. Зрачки его были пусто расширены. Иногда суживались. Он смотрел на портвейные три бутылки на столе. На фоне короткого сжатого заката высокие черные эти бутылки с коротенькими горлышками стали казаться ему трубами. Гигантскими газовыми трубами... Он качнул себя к столу. Упершись в столешницу, дико разглядывал бутылки. Во внезапном, сумасшедшем прозрении прошептал: «Гигантские... легальные... винокурни...» – «А?!» – громко спросил, обернувшись, у кого-то. Его мотнуло от стола и с маху кинуло назад, на диван, затылком в стену. С перекосившимся от боли лицом он медленно сползал, сдирая со стены известку. Так же медленно полз по спинке дивана. Словно не отпускал боль. Словно забирался с ней в себя. Как в конуру. Легонько постанывал. Кувыркнулся на бок, охватив голову. Затих.

* * *

– Эй, Заварзин! – опять трясли, дергали Лунькова на другое утро. – Заварзин! Мать твоя чекушка! Давно одиннадцать! Пора!.. Да Заварзин!..

Луньков быстро сел. Гришка Кошелев уже бегал. Длинная женщина курила у окна. Отрешенно смотрела вдаль. Как индеец через века.

«Скальп чертов!» – бухая сердцем, торопливо застегивался Луньков. Гришка ширкался ладошками. «Времечко, времечко, Заварзин! Поторопись!» Приобнял, повел, насадил на Лунькова шляпку, вытолкнул на крыльцо. Луньков судорожно искал рукой рукав пиджака. Рука попадала в рукав плаща. Скинул все на крыльцо. В шляпке, с незаправленной рубахой по колено. Нелепый, дикий. Тяжело дышал... Сзади резко высунулся Гришка. Уже в майке, волосатенький. «Вечером – чтоб дома! Как штык! Понял? Будешь нужен!» И захлопнулся, скрежетнув замком. «Гад!» – плюнул в отчаянии Луньков.

Часа через два он в неуверенности топтался на крыльце, не решаясь сунуть ключ в замок. Сжимались в ненависти зубы. Мутно, как из лужи, всплывала недавняя картина: длинно лежащая Скальп с бесконечно длинной голой ногой на спинке дивана и запрокинутая, самозабвенно храпящая башка Гришки, прикрытая синюшной грудью Скальпа будто шляпой...

Луньков сбежал с крыльца, заметался по дворику. «Мерзавцы! Похотливые мерзавцы! Господи, куда-а?» Решительно направился к окну. Грубо застучал в стекло. Упрямо ждал. В комнате не шевелились. «Сейчас я вас, сейчас!» Забежал и заколотился с ключом в замке. Распахнул дверь...

Сразу ослаб. Качался в дверях, хватаясь за косяки. Войдя, стаскивал плащ. Не мог кинуть его ни на свой диван, ни на диван возле окна. Бросил на мешки с театральным тряпьем. Присел, наконец, к столу, вытирая со лба пот.

Глаза непонимающе натыкались на три мятые синюшные конфетные обертки на середине стола. И лицо Лунькова начало вытягиваться: «Так это в перерывах, значит. В трех перерывах. Скальп съедала по одной конфете...» Он сглотнул. И затрясся в полусумасшедшем, тихоньком смехе. И захохотал. И дергался, захлебывался, давился от хохота. «В перерывах! Ха-ха-ха! Сорванные розы любви! Брошенные на стол! Синюшные розы Скальпа! Ха-ах-хах-хах!..»

...Вот, Люба, я все пишу тебе эти письма, над которыми потешаются Кошелевы. Письма к тебе – к бывшей моей жене. Единственному даже сейчас родному для меня человеку. Да, да! Прости... Я не сумасшедший, я знаю, что ни одно из них я не вложу в конверт, не напишу на нем твой адрес. Но сидит во мне, Люба, вера (а может, уже мания?), что однажды, когда-нибудь, я напишу тебе, наконец, одно, единственное письмо – и оно все перевернет в моей жизни. Прости за высокие слова – подвигнет к чему-то. Очень важному для меня, единственному, может быть. И отступить тогда назад будет уже нельзя. Только вперед тогда, только вперед... Понимаешь?.. Может, все это чушь, бред, что так все будет, но я верю, верю. Кроме этой надежды – ничего у меня нет...»

Луньков встал, подошел к окну. Смотрел на спящее в мёроси предвечернее небо, на мокнувший во дворе разброс.

...Вот смотрю я сейчас в окно. Опять сочит дождь. Вроде бы на улице промозгло, холодно, а под водосточной трубой, на краю бочки, полной воды, вовсю купается, разносит брызги пухленький воробей. И, знаешь, представляется мне, что глядят на него сейчас с крыши другие воробьи, тужатся от холода и чирикают меж собой: ну не дурак ли этот воробей? В такую погоду!.. А он и знать не желает, что промозгло, сыро, что осень давно висит кругом, ему – дожди еще теплые... И поддает водой, и разносит!.. Ну не молодчаги ли воробей?..

Невольно Луньков обернулся. Словно поделиться радостью с кем-нибудь... Сразу погас. Медленно вернулся к пустоте. Собирал на столе тетрадь, ручку, два обгрызенных карандаша, исписанные обрывки газет. Запрятывал все в мешки с театральным тряпьем.

* * *

Он вскользнул в комнату. Новый персонаж. Шофер Роберт. Словно за ним гнались, искали. Постоял, вслушиваясь. Острокадыкастый, как голодный. Будто просто на стул, накинул на Лунькова спецовку. Прошел, открыл дверь в коридор. Опять замер, высоко задрал руку к выключателю...

Луньков торопливо вдевался в спецовку, с удивлением следил, как Роберт рыскал по коридору и зачем-то часто-часто дергал стеклянные ручки на дверях закрытых гримерных. То ли открыть пытался, то ли испытывал, крепко ли они прибиты. Пустил для чего-то сильную струю из крана в раковину. Закрыв кран. Нырнул в дальнюю комнату. Слева. Открытую. Где навалены были старые декорации. И быстро-быстро полез по ним, треща и проваливаясь, к единственному в комнате, почти под потолком, окошку.

Вернулся, наконец, обратно в комнату, сшибая пыль с брюк и пиджака. И вновь замер, голодно вслушиваясь. То ли к себе, то ли к чему-то внешнему, за стенами... Наконец, словно отбросив решение недавней задачи на потом, как-то злопамятно, радостно просветлел: погоди же-е!.. И пошел к двери, на ходу скороговоркой лая будто только для себя одного «пошли-пошли-пошли!» и

выдергивая из заднего кармана ключи от машины как оружие. И все это – точно в пустой комнате, точно и нет никакого Лунькова в ней. «Артист!» – метнулся за ним Луньков.

Подперев свет, как хиленький душ, в кабине грузовика застывши сидел Кошелев старший. словно терпеливо смывал перед дорогой давно намыленное, неотвязчивое... Луньков усмехнулся: «Понятно. Встреча в верхах предстоит. – Прикрывал калитку, закладывал вертушок. – Встреча на высшем уровне. Потому сегодня – сам!»

Грузовик катил по широкому оврагу вниз к огонькам Нижегородки. Будто с фонариками, по холмам скакали домишки. Справа, слева.

Но внизу, на месте, в окнах дома на бугре было темно. Из кабины вглядывались. Неожиданно взнялась зарница, и сразу привязанной стрекозой затрепетала над крышей антенна. Грузовик подал вперед и, круто разворачиваясь, полез к дому задом, кидая Лунькова от одного борта к другому. Немые тут же пошли раскрываться ворота.

В глубине двора, под переноской в низком гараже, забитом мешками и ящиками, угрюмо ждал хозяин. Свет вылоснил только лысину, лица – не было; толстые руки закруглены – как для драки... Так же угрюмо пошел к нему Кошелев. Обнялись, как ударились. Сильно хлопали друг друга по спинам. От ударов икали. Роберт рыскал по гаражу...

Оврагом наверх машина тащилась с натужным высоким воем. Для передышки хватала другие скорости, взревывала, снова натужно выла. Отделяясь от горячего зудения мотора, из кабины вылетали обрывки фраз, возгласы, смех. «Довольны. Пошабашили. Кто кого только на этот раз надул?» Лунькова болтало на тугих мешках с цементом. За шиворот к потной спине уже лез озноб. Луньков садился, охватывался руками. Покачивался – как думы свои покачивал...

...Люба, он имя его всегда выговаривает так: «РобЭрт»... А «РобЭрт» его: «Афдеч! Афдеч!». Понимай: Авдеич. Как сглатывает в нетерпении. Голодный, обжигаясь... «Афдеч! Афдеч! У меня теща не каблирована. В Песчанке. Каблируй, Афдеч! Пять сотен и сверху!..» Или: «Афдеч! Афдеч! Люстры у Фрола! С висюльками!» И рванули на грузовике к Фролову на базу. Завхоз и шофер погорелого театра. Два друга. Не разлей вода. Даже два «сваяка» теперь. Ты понимаешь, о чем я? Понимаешь – «сваяка»?

Луньков уже похихатывал.

...И «сваяками» я их сделал, я. Я жене Кошелева Роберта подсунул. Невольно, конечно, но я, Люба, прости... Но не для тебя это, не для тебя... Но невозможно же вспоминать об этом!

Луньков уже хохотал, охватывая голову. Как плакал, рыдал.

Удивленно из кабины постучали. К решетчатому окошку сунулся Роберт: ты чего, чего, Заварзин?.. Увидев вытянутое лицо с раскрытым ртом, Луньков совсем зашелся, катаясь по мешкам.

Но быстро прошло в нем все. Иссякло. Вернулся озноб. Луньков нахохлился, зажался. Смотрел на обмирающие, тонущие огоньки Нижегородки. Воспоминание, от которого так смешно было минуту назад, уже смятое, словно выпотрошенное, теперь только болталось с грузовиком, саднило. Отчаяние зашло в глаза Лунькова, и одного только хотелось: закрыть глаза, зажать уши и не вспоминать, не думать...

* * *

Полтора месяца назад, в начале августа, Кошелев впервые повез Лунькова к себе на дачу. «В сад», как он сказал. Нужно было выкорчевать два пня, оставшихся от спиленных недавно берез.

Ехали загородным автобусом. Потом шли по лесу. Кошелев пыхтел, отирал пот, крепко поминал сына Гришку, который под каким-то предлогом отбрыкался и не повез на дачу. Луньков задирает голову к перелетающим птицам, запинался о корневища деревьев, отовсюду напоздних на песчаную дорогу. Замерев от восторга, следил за стукотливым дятлом... Снова торопился за Кошелевым. Лицо Лунькова покраснелось, глаза тихо радовались.

Но когда за лесом вышли на поле в овсах, озираясь по бескрайней, белой знойной его тоске, безысходности, сжало горло Лунькову каким-то предчувствием. Шел. Мучаясь, смотрел за поле. На покатый длинный взгор. Где к высокому звонкому сосняку, как к храму, уже полз, басурманином множился дачный поселок.

Кошелева дача влезла прямо в сосны. Был это обыкновенный с виду дом – одноэтажный, небольшой. (Правда, непонятно было: деревянный он или кирпичный?) Какая-то приземистая крыша, две трубы из кирпича, побеленные, но уже закоптившиеся по бокам... Внизу – штакетниковая невысокая городьба... Но, глядя на широкие окна в самодовольном покойном тюле, Луньков сразу подумал, что внутри наверняка и вместительно, и просторно... и богато.

– Генриетта, вот это тот самый Заварзин, – с удовольствием подчеркнув два «т» в имени жены, сказал Кошелев. Как коня, похлопал Лунькова по загорбку.

За штакетником на низкой скамеечке стояло железное корыто, полное воды и огурцов. Над ним колыхалась крупная женщина с задирающимся сзади платьем.

– Ага, – только и сказала она, мельком взглянув на Лунькова. И снова стала сгребать и раскидывать. Страстно сталкивались в корыте крутые волны. По загорелой до черноты сильной руке ёрзала слетевшая с плеча резко белая ляжка лифа.

– Моет... для засолки... – довольно смотрел на мощные, высоко загорелые, молодые ляжки жены Кошелев.

Ввел, наконец, Лунькова во дворик.

Обогнули дом, шли вдоль длинной веранды, туго заполненной солнцем. Остановились перед высоким сараем. Через открытую половину широкой двери в темноватом прохладном провале угадывался у стен «товар», прикрытый брезентом. «И гараж, и склад», – отметил Луньков.

Кошелев сам выбрал и вынес две лопаты. Штыковую воткнул перед Луньковым, совковую – вручил. Вынес топор. Но подумал и приставил к стене. Выволок и бросил лом.

Сада, как такового, почти не было. Был больше огород. С тремя теплицами, где как лес стояли помидорные кусты с краснеющими плодами. Со смородиной и малиной вдоль штакетника, с широко разбросанной зеленью грядок, где ерошилась морковь, закоренелыми лысыми пьяницами валялись огурцы, черепно высох мак, желтел, вылинивал укроп. И опрятный вишневый кусток с горстками взвешенных налитых ягод – стоял восклицательным знаком всему.

Неподалеку от будки летнего душа с высоко взнесенным ржавым баком вышли, наконец, к двум пням, выкорчевать которые доверили Лунькову.

День был высокий, синий, ветренный. Гуляли, бегали, как освободившиеся аэростатики, чадливенькие облачка... Откинувшись руками на прохладную горку земли, под корни пня вытянув ноги, по пояс раздетый, белый, блаженно щурился Луньков на солнце, которое, словно легкие, беловато-сизые одежды, подхватывало охвостья туч. Подхватывало и отпускало... Вода носом и закрывая глаза, Луньков ловил запахи, прилетающие от спелого сосняка за домом...

Вдруг увидел, что на него смотрит женщина. Жена Кошелева. Сразу схватил лопату. «Очень интересно она цепляет прищепки на белье – глядит на меня, а прищепки словно сами собой взлетают и цепляются на веревку... Генриетта... Хм... Это уже закономерность какая-то у Кошелева. *Робэрт... Генриет-та...* Интересно: на сколько лет она моложе Кошелева? На двадцать? На двадцать пять?»

Под взглядом женщины Луньков казался себе сильным, мускулистым, ловким. Он поддевал ломом, резко дергал пень вверх. Тот не поддавался. А женщина стояла – и он еще дергал. Еще. Распрямлялся. Как атлет, вдыхал побольше воздуха и выдыхал медленно, тряся руками. Освобождал мускулатуру. Снова накидывался. Теперь уже с лопатой. Подрывал и подрывал. Однако пни сидели крепко. Тогда, как только женщина с тазом ушла, стал потихоньку подрубать корни. Лопатой. Не выкапывать, как приказал Кошелев, а подсекать, рубить. И к обеду выворотил, наконец, один из пней. И только через час – другой.

Курил, сидя на краю ямы. Смотрел на закинувшиеся мохнатые пни. Судя по мощным корневищам, по толщине этих пней, спиленные березы были большими, зрелыми. Но не на тот огород попали они... Вернее, сам огород влез сюда. И свел их.

Пришел Кошелев. После обеда расположенный. Ковырял в зубах спичкой. Сплюнул. Лунькова похвалил. Ямы... (снова сплюнул)... велел закопать. Уходя, сказал:

– Ты это, Заварзин... Мы уже пообедали. Как закончишь, зайди в дом. Генриетта там. Покормит тебя. На веранде, я ей сказал. А я к соседу схожу... Ополоснись, если хочешь. Вон, в душе. Правда, вода, наверно, холодная.

Вода обожгла. Но чуть погода Луньков уже задирает лицо и с наслаждением слеп под мягко секущими струйками.

Кто-то зашел в будку. Луньков подумал, что Кошелев. Но спросил: «Кто там?» С намыленной головой и лицом. Сзади молчали. Луньков торопливо стал смывать мыло. Обернулся... Бесстыже, отчаянно на него смотрела женщина! Генриетта! Большая грудь ее в сарафанных цветочках вздымалась, напаянный рыжий парик – рогато торчал!.. Луньков быстро прикрыл пах, отвернулся, зажался. Щелкнула задвижка на двери. «Что вы делаете!» – «Тихо ты! Молчи!» Схватила за руку. Прислушалась. Точно приглашая и его, Лунькова, в заговор, в игру. И неуклюже, грузно повалилась на решетку внизу, дернув Лунькова на себя...

Из мокрого большого елозящего тела Луньков панически вырывался. Как вырываются из трясины. Закидывал голову и чуть ли не вопил.

Его отбросили в сторону: «Урод!»

Один, он валялся на деревянной решетке. По вытаращенным глазам хлестала вода, промывая их до дикости вареных лупленых яиц...

Он вскочил, бросился к скамейке с одеждой. Быстро стал одеваться. Выглянул наружу... Короткими перебежками, как заяц, перебежал к даче, не зная, с какой стороны обогнуть ее, чтобы юркнуть к калитке. На веранде никого не было.

Вдруг увидел Генриетту. В сарае. Торопливо, зло, она стягивала с себя сырой сарафан. Вверх! Обнажаемые ягодицы были как воздух!.. Луньков зажмурился, кинулся вдоль дома, упал на траву, вскочил, сиганул мимо калитки через штакетник.

Он скользил вдоль дач. Дачи подбоченивались. Дачи скалились мансардным стеклом. Он отворачивался к соснам. И стволы рябили. Луньков охватывал голову. С ходу налетел на ведро воды возле крупного старика в пижаме, отдыхающего на тропе. Старика обдало по ногам водой. Луньков подхватил-поставил ведро. Быстро улыбнулся старику. И старик потрясал вслед кулачищами и хлопался ртом как калошей: «А-бар-мо-от!..»

Через три дня Кошелев сказал:

– Съездишь, Заварзин, завтра на дачу. Генриетте поможешь. Новую полку ей там надо поставить... В погребе...

Луньков вздрогнул: да что это она! Да ей же в морге только работать! Вслух поспешно проговорил:

– Невозможно, Роман Авдеевич – фобия!

– Чего это еще?

– Боязнь замкнутого пространства... У меня... Могу заметаться там... В погребе... Банки побью.

Кошелев с подозрением смотрел: шутка, что ли? Брезгливо скривился:

– Э-э, интеллигент... «Фобия».. Как орден какой. Тьфу!

Озаботился. Недовольный, хмурый.

– *Робэрта*, что ли послать?

– Вот, вот! Роберт в самый раз!..

Кошелев опять прищурился.

– ...И полки сделает, и ни одной банки не разобьет, – поспешно успокоил его Луньков, мечась взглядом. Опасаясь только одного – как бы не засмеяться, не захохотать ему в рожу...

А тогда, после дачи, уже в своей сторожке, боясь до конца осознать все то гадкое, непереносимое, что сотворили с ним на даче, сидел Луньков у стола словно с одним только засаженным в голову окриком – «А-абар-мо-от!» Набегали и набегали легкие слезы алкоголика. Луньков пригибал голову к плечу, отирался рукавом рубахи. Снова застывал. С высокими – как у слепого – глазами...

...Есть люди, Люба, одинокие люди, которые вечерами, когда едят какую-нибудь жалкую свою еду – сырок ли, кефир ли там какой, булочку с чаем – то они словно винятся перед кем-то за то, что едят... Они ведь одни, Люба, одни! Никто их не видит!.. И вот – винятся. Поверь, жалкое, тяжелое это зрелище... И я сознаю тебе, Люба: к таким людям теперь принадлежу и я, Игорь Луньков. Твой муж, твой бывший муж... Они виноваты уже в том, что живут на свете! Они заедают чужой век!.. Ох, прости, Люба, меня, прости. Тяжело мне сегодня. Прости...

* * *

...Машина шла уже в городе. Улетали назад сутулые фонари. Высоко зависали ройные остывающие многоэтажки. Луньков раскачивался на мешках, подтягивал коленки к груди, охватывался, зажимал руками дрожь. Из кабины все вылетала голодная скороговорка Роберта, самодовольно, баском, похохатывал Кошелев.

Чтобы как-то забыть унижение, заглушить непреходящую боль, Луньков зло бормотал: «Да-а, дядя, не повезло тебе с твоей Генриеттой. Все ты рассчитал в жизни своей. Все продумал, наперед вычислил. А вот с женой – промашка вышла. Хотя и с именем она подходящим для тебя – *Генриет-та!*.. То в летний душ ее неодолимо тянет, то – уже в погреб!.. Ты, наверное, дядя, сам над погребом-то стоял? Спрашивал: как у вас там дела, Робэрт? Может, подать чего?.. Гордись, дядя, женой, гордись!»

Протащившись с очередным мешком по коридору до костюмерной, свернув в раскрытую дверь, Луньков с облегчением сбрасывал мешок на пол. Взрывалась цементная пыль... Луньков выпадал обратно в коридор, покачиваясь, шел, смахивал пот. Но с крыльца торопился, а к калитке уже бежал. Крючковой сильной лапой, – за ухо – выдергивал Роберт очередной мешок на край кузова. Брезгливо накидывал его на Лунькова, отряхивая ладонь о ладонь. И Луньков, пригнувшись как таракан, семенил ногами к крыльцу, вскарабкивался на него, за освещенной комнатой пропадал в коридоре.

Двое у машины ждали: Кошелев угрюмо, сунув руки в карманы плаща, Роберт – озираясь по проулку, нервно похохатывая:

– А, Афдеч?.. Ха-ха!.. Никого? Да? Афдеч? Ха-ха! – Будто еще напряжения в Кошелева нагнетал. Дополнительно. Нарочно.

И дождался:

– Таскай!

– Так Афдеч! Спецовки нет!

– Мешок возьми. На голову!.. Учить тебя? Живо!

Чертыхаясь, шофер побежал в театр за мешком. А Кошелев словно выдохнул, наконец, все скопившееся. Недовольно уже, даже требовательно смотрел в сторону клуба на углу. Где во весь фронтон висел человек с закатным лбом дамбы, и откуда из дверей должны были вот-вот повалить зрители после фильма. Не сидят, понимаешь, дома. Черт бы их задрал!

Дверь костюмерной закрывал сам. Подергал стеклянную ручку. Проверяюще. Как Роберт.

Красные десятки Роберту выпускал на ходу. Двумя пальцами. Как визитки. Роберт хватал, мгновенно совал в карман. Еще хотел, еще. Чтоб так же! так же! Афдеч!.. Кошелев глянул: «Меру знай!»

Рубль для Лунькова валялся на столе. Жевком. «Такса, Заварзин! Твоя!»

* * *

Пригнувшись с тяжелыми сырыми кругляками, по гулким мосткам с баржи поторапливались, бежали люди. На берегу сбрасывали дрова. В накинутах на головы мешках, как монахи, неприкаянные, вековечные, шли к барже. По одному ступали на другие, жиденькие, сходни, и дождь, постегивая, осторожно заводил их на высокий борт баржи – и они пропадали где-то в трюме.

В первой же носке Луньков сбил себе бок. После мостков, беря с дровами на подъем, он припадал на ногу, старался как-то ужимать бок, защищать...

– Что кряхтишь, Заварзин?

Рядом вверх лез Кукушкин. Кривоногий, приземистый, сильный. Весь – будто из железа.

– ...Скажи спасибо, что не береза. Когда березовый кругляк пойдет – не так закряхтим.

Но уходя с Луньковым к воде, удивленно воскликнул:

– Да ты, парень, бок ссадил! Ну-ка дай сюда! – Он стал выдергивать из петли заплечника у Лунькова палку. Луньков послушно дергался. – Интеллигенция... Это палка, по твоему? (Отшвырнутая палка запрыгала по гольцу.) На вот мою. Да брезентухой оберни.

– А ты?

– А у меня еще есть. – Кукушкин хитро подмигнул: – Вон – на судне...

На «судне», нагруженный кругляками до неба, Кукушкин кричал:

– Мужики! Вот бы на туристов-то! Такие рюкзачки! А? Со всего Союза согнать, каждому на горб – и айда. Да в гору! Да бего-о-ом! – И он сбегал по мосткам. И так же шустро бежал «в гору». Возле складывающих дрова женщин в изнеможении падал. Артель ржала: «Ну, Кукушкин! Ну, балалайка!»

Луньков сидел на сухом подтоварном настиле, в столб упершись спиной. Над рекой опять ходили, черно копились тучи, но вода шла тихо, вымытая до стеклянной глади предыдущим дождем, и только осторожно ласкала тупорылую баржу с круто выпущенной из ноздри толстой якорной цепью. Луньков курил, смотрел. Думал о своем, нерадостном.

Застыл на пятках Кукушкин. Остриженный, круглоголовый. Проникшись тихим настроением Лунькова, старался из бутылки запускать в себя без глóхтов, тихо. Вроде бы вполне серьезно – жаловался: «Ну, выпил в тот раз. Ну как? – заусило. Да сильно. Побежал в гастроном. Просыпаюсь – отрезви-и-итель. (Он широко повел рукой с бутылкой. Словно очертил ею весь мир.) И я в нем, значит. Да прямо посередине. Посреди раскиданных алкашей лежу... Вот так, Заварзин, бывает. И не алкаш, ни-ни, честный – и хватают... – Он отхлебнул. – Что скажешь, Заварзин? – И, видя, что Луньков уже дергается, мотает у колен головой, в поддержку ему, в одобрение очень частенько смеялся: – Хахахахахахахахаха!.. А, Заварзин? Хахахахахахахахахахаха!»

Луньков уже гнул, давился смехом. Но Кукушкину мало: «А это когда судили меня, судили! Слышь, слышь, Заварзин! В 72-ом! Обвинитель. Еврей. Рыжий. Распахивает так на меня рукой. Перед судом. И с сокрушением так говорит: «Ну какая у него жизнь? Каждый день пёт, пёт. Домой приходит – пьяный... Жену бёт, бёт и бёт... А с утра опять пьяный!..» А, Заварзин? Хахахахахахахахаха!»

И оба они заходились в хохоте. А глянув друг на друга, сваливались с настила на песок и начинали уползать по нему, дрыгая ногами.

И сквозь слезы, смех, хохот этот дикий казалось им, что все-то они друг про друга знают и давно знали. Что судьбы их одинаковы и неразличимы как жабы. Что квакают они им, а потом глотают, и всё до конца заглотишь не могут. И смешно было от этого – непереносимо.

Потом им закричали с баржи, и они шли к воде. Отряхивали с себя песок, прятали друг от друга глаза.

Снова упал дождь. Словно тоже отобедав. И выплясывал лихо русского на высоких черных горбах уже бегущих по мосткам людей...

* * *

В притемненном уюте ночной комнаты, у настольной лампы возле окна готовил уроки мальчишка лет десяти. Он каждый вечер так для учебы располагался. Прилежный, старательный.

Луньков смотрел на него через проулок, и снова пощипывало глаза... Растроганный, открыл калитку.

Однако в темноте сторожки – вздрогнул. С забившимся сердцем протыкался на цыпочках к двери в коридор, приложился ухом. Как из-под земли сквозняк вытянул в щель невнятный, но сразу узнанный голос Кошелева. Потом забулбил Гришка, сын его... Луньков опустил на стул.

Нужно было к крану с водой. Освежиться, смыть пот, постирать майку, рубашку. Решился идти минут через десять.

В коридоре невольно остановился у полуоткрытой двери в одну из гримерных.

В тесной комнатенке, сильно освещенной с потолка большой лампой, у распахнутых трехстворчатых зеркал, пригнув головы, сидели Кошелевы. Отец и сын. Тихо, монотонно, точно псалмы, отец считывал цифры, беря их через очки из клеенчатой тетрадки, что раскрыто лежала на столе. Сын же не очень умело цифры эти в калькулятор – вдавливал. Осваивал, получалось, новую оргтехнику... С висящей гроздью ключей, на тумбочке у стены стоял небольшой сейф...

Вздрогнули оба. Разом. И... словно размножились мгновенно в зеркалах. Десятки там стало Кошелевых. Казалось, сотни! В анфас! в профиль! в очках, без очков! с раскрытыми ртами! в испуге привставших! в испуге откинувшихся!..

– Чего тебе?! – выкрикнул Гришка.

– Ничего... Извините. Добрый вечер.

Луньков пошел дальше, к крану. А в комнатенке, как пыль в перепуге – всколыхнулось всё: «Х-ха! А? «Добрый вечер»! А? Сколько я тебе говорил! А? Отец? Не боишься?» – «Честный... Интеллигент...» – подрагивал баском, приходил в себя Кошелев старший. «Ну-ну. Смотри. Я тебя давно предупреждаю: не место тут всему, не место!» – «Не каркай!»

...Люба, как все же могут быть похожи, до отвращения похожи друг на друга близкие, но некрасивые люди. Отец и сын... Оба в щеках, как в лепехах. Бровастые, низколобые. Бобрики у обоих – как скребки. А по уму, Люба!.. Один, как говорится, «мы академиев не кончали!» Другой – вышел уже на интеллект троллейбусного парня, дорвавшегося-таки до микрофона: «В салоне работают

две касс-с-сы! Друженько раскошелится, друженько! Не стесняемся! Не смущаемся! Па-апрошу!..» Гос-по-ди-и!..

Луньков лез головой под кран, глушил все холодом.

* * *

Прикрывшись углом дома от уличного фонаря, неслышным вором ходила по комнате и вязала черные мешки темень. Луньков лежал на диване, руками охватив затылок, и глаза его, точно взведенные в темноте, опять мучились, не могли уйти из этой комнаты, не могли ничего забыть...

Кошелев старший заявился тогда поздним вечером. Совсем не ожидаемый Луньковым. Заявился пьяным. Его точно втокнули в сторожку и захлопнули дверь. Не замечая вскочившего Лунькова, он покачивался. Положение свое обдумывал. Сопел. Без шляпы, с исцарапанной щекой, в мокром распахнутом плаще, под которым были только майка и пижамные штаны... В тапочках... Начал ловить рукой и выдернул из кармана плаща бутылку. Уже с дивана, мотнув ею, приказал: «Открыть!» Налитые полстакана водки заглотил враз. Долго осваивал ее в себе. Потом как-то внутренне оживился и забормотал: «Ах ты, стерва! Вот так стерва! Ну молоде-ец!..»

Чтобы не молчать, что снять как-то неудобство свое перед пьяным, Луньков спросил, что же все-таки случилось.

– А тебе зачем? – вскинулся Кошелев. – Твое какое дело?! – И прищурился: – Смеешься?..

– Да ведь я... я хотел...

– Смотри-и!.. Ты на себя глаза разуй!

И брезгливо морщился, глядя на склоненную голову Лунькова. На его белеющее темя сквозь зачесанные реденькие черные волоски... Будто просто сплюнул:

– Червь книжный белый!..

И сидел со сцепленными на животе пальцами. И все возвращал обиженно взгляд к Лунькову. Как к тле какой-то. Которую бы и размазать, да руку лень отцепить.

Начал подхохатывать. Как-то издалека:

– Ты посмотри – в чье ты одет. Брюки – мои, пиджак задрипанный – Гришкин, кеды – и те Генкины. Генриетты. С да-а-ачи, ха-ха-ха! Шляпчонку вон бывшую мою еще надень, интеллигент! Хах-хах-хах!

От смеха он прямо наливался кровью.

Луньков метался взглядом. Вскочил, трясущейся рукой наплескал в стакан, выпил, снова сел.

– Во! Во! – тыкал в него пальцем Кошелев. И с разъехавшихся мокрых губ его студенисто выжуживалось: – Алыка-аш! – И снова разевал пасть и, хохоча, зажмуривался: – Ха! Ха! Ха!

Оборвал все резко. Будто и не смеялся. Сидел, угрюмо варил свое. С низкой стрижкой – обрезанный как кувшин. Выкинул руку со стаканом: «Налить!» Выпил. И

от выпитого – снова словно вышагнул из себя мрачного. Откинулся на диван перед Луньковым, свесив руку с пустым стаканом со спинки.

– Вот смотрю я на тебя, Заварзин, – ну какой ты бич? Ты в стае должен быть, в вашей стае, а ты – один. А?.. Насолил ты, видно, чем-то своим бичам, ох, насолил... Откололся. Сбежал... Отщепенец ты, Заварзин. Этот... как его? диссидент... Бутылки ты не собираешь – брезгуешь, десятики возле гастрономов не клянчишь – гордый, а на работу – так хоть среди ночи разбуди. Какой же ты бич, Заварзин?.. Хотя ты-то и есть натуральный *бывший интеллигентный человек* – б и ч. Но не бич, нет – не бич... Думаешь, случайно я тебя в Щекотихе приметил? Любого мог взять из кодлы тамошней, а взял – тебя. Мне Гришка: смотри, отец, смотри-и... А я ему: червонец оброню – не тронет. Как пёс слюной изойдет – не тронет. Честный. А? Заварзин? Верно я говорю? Н-ну!..

В отчаянии Луньков ждал, когда Кошелев опьянеет, когда упадет. Но тот и не думал падать. Потребовал закуски. Кильку с тарелки запуская в разверстую пасть горстками. Закидываясь. Жрал прямо с головами. Отбросил пустую тарелку. Отирал пальцы об обивку дивана. Опять пил. И вновь словно только трезвел от водки:

– Хочешь, я расскажу про тебя? Про тебя – тебе, Заварзин?.. Ну, первое дело – жена скурвилась... Точно! Н-ну!.. Ей бы в морду да из дому вон – так ты сам на край земли бежишь... А дальше просто: хлебнул воли, по горло хлебнул, назад? – а ходу-то и нету. – Кошелев прищурился: – Где паспорт пропил, Заварзин? Расскажи. Поделись. Н-ну!

– Я же вам говорил. Украли...

– Э-э! Мели знай! Водка тебя сгубила. Водка. Вот эта самая... Вот я – уважаю ее. Часто уважаю. И на ногах. В уме. А почему? А потому – корень у меня другой, Заварзин. Корень. Корень хозяина, крепыша. И всегда так будет: есть дубы, и есть всякий сор вокруг них, который на дрова стригут. Понял?.. У тебя жрать – нечего, а журнальчики вон, полный угол – покупаешь. Два института, поди, кончил... И посмотри теперь: кто – ты, а кто – я! Н-ну!..

Луньков сидел, лицо его пылало, в глаза набегали слезы.

Вдруг голова Кошелева опустилась, шумно засопела – и рот разъехался жабой... И с тоской уже думал Луньков, что придется спать с дремучим этим человеком в одной комнате, что завтра нужно будет идти звонить, потом ехать к нему домой за одеждой, говорить, видеть его Генриетту... что протрезвившись, не простит Кошелев ему, что предстал перед ним, Луньковым, в таком свинском виде... Что сравнялся с ним в падении.

Голова Кошелева вдруг вскинулась, он поводил бессмысленно глазами. Просипел: «Гришку...» – и снова как разъехался.

Луньков пошел звонить. Потом потихоньку ходил на крыльце, не решаясь вернуться в комнату. О висящую над проулком тарелку с лампочкой убивался и убивался мотылек. Прилежный мальчишка в окне через дорогу готовил еще уроки...

Гришка приехал на своих «Жигулях». Кругом обошел машину. Кинулся, потряс задок. Только после этого пошел к крыльцу.

Увидев отца – в замявшемся плаще, в тапочках, с пучком царапин на щеке... беспомощно полулежащего, точно придавленного своим животом, – Гришка в сердцах воскликнул:

– Ну, отец, драть тебя некому!.. Когда ты ее погонишь?

– Но-но! – сразу очнулся Кошелев. Посопел. Пообещал зло: – Вот запишу на нее всё, попрыгаете тогда... Н-ну!

– Да не пугай – пуганые... Ну-ка, Заварзин!..

Они подхватили под руки сразу одубевшую тушу. Потащили.

Возле машины Кошелев вдруг перестал качаться. Трезво, въедливо прищурился опять:

– Так чем ты насолил бичам своим, а? Заварзин? – и замотал указательным пальцем: – Кошелева захотел провести? Шаль-лишь! – Но снова как оступился в пьяный газ: – Смотри!.. Будь верным! И я подумаю насчет тебя. Я все могу! Знай!.. Верным будь!.. – Полез в машину: – Вези, Гришка!

Уже на ходу, опустив стекло, стал развевать за собой по проулку песню:

Э ды на побывку ы-еде-ет мол-лодой мор-ряк!

Гришка сразу затормозил. Придавив певца, зло поднял стекло. Поехал дальше. Немо, с удивлением певец поворачивал голову к водителю. Скрылись за углом.

В ту ночь Луньков долго не мог уснуть. Ворочался, перекидывался на бок. Вновь замирал на спине, таращась в темень... Потом, как не раз бывало с ним, в полусне ли, в полуяви словно лежал-задыхался под бесконечной, красно сплывающей над ним речкой, не в силах ни вынырнуть из нее, ни закричать...

И вышел в темноту степи далекий костер. Лунькова сразу повели к нему, крепко держа за руки. И вставала против красного разгара высокая полынь, и раскачивалась она с землей, и ломалась, будто падала на колени. И неузнаваемые, словно из других веков, из многодавних тысячелетий, кинув руки к земле – сутулые, мохнатые, сильные, – шли в закинувшийся этот разгар костра, стаптывали сухую полынь бичи.

Лунькова вытащили на освещенную поляну перед костром. Заломили руки, за волосы вывернули голову: смотри!

Тут же, будто прямо из ревущего костра, выполз по пояс голый Борода и стал совать к огню его, Лунькова, паспорт. Все ближе, ближе подносил, выкрикивая: «Что, Луньков, горишь?! Гори-ишь?! – скалилась жуткая оплавленная морда бывшего пожарника. – Хотел, чтоб справедливо?! Чтоб братство было?! Вот тебе «справедливо! Вот тебе «братство!» – размахивал схватившейся огнем картонкой Борода. – Горишь, Луньков, гори-ишь! Нет больше Лунькова! Не-ет!»

Мотыльком полетел в костер паспорт. Палкой Борода стал выкатывать из костра много белого жару. Угли притихали чуть, но тут же зло оживлялись, сбиваемые палкой в кучу.

И был истошный крик:

– Крести-и-и-и-ить!

Лунькова ударили под колени, сломали к земле. Тащили к углям, выламывали руки, пинали, сдирали штаны...

– Сажай его, гада-а-а! – визжал Борода. – Крести-и-и-и-и!..

– Не-е-е-ет! – закричал Луньков, не помня как выметнувшись из сторожки.

Ветер гонял по двору дождь. За забором на столбе болталась лампочка под колпаком... Луныков хватал и хватал ртом налетающую мокрядь.

Утром, измученный, тащился он к проспекту и все складывал спасительные для себя строчки:

...Сегодня ночью я опять вспомнил старое, кошмарное, жуткое. Но о нем я никогда не смогу тебе написать. Такое нельзя рассказывать нормальному человеку. Женщине. Любимой. Такое слушают только равнодушные. В судах, в психиатричках. Любимым это – нельзя... Но как могут растоптать человека! Люба! За то... за то, что он еще человек... за то... что он... Ох, прости, Люба, прости, не о том я тебе сегодня. И слезы вот уже опять рядом. И выпить бы. И пиво вон из гастронома несут... Но хватит, хватит. Попил. Хватит. Только к работе теперь, Люба, только к работе. В Щекотиху. К баржам...

Луныков заторопился к отходящему автобусу. Влип в переполненное его утро.

* * *

Уже неделю Луныков работал в Щекотихе. Не пил. Утром, как по будильнику, вскакивал, быстро умывался. Сходя с крыльца, видел, что с пустым чайником торопится сторожиха, слышал ее паническое «сосед! сосед!», сам бежал к забору, выхватывал чайник, набирал ей воды. Перекинувшись несколькими словами, спешил к калитке. И дальше проулком к автобусам.

Баржи с дровами шли и шли. К каждой по утрам толкалось немало новых людей, но бригадир, пробираясь в толпе к сходням, всегда сам говорил Луныкову: «Ты – в бригаде». И это радовало Луныкова. Как радовало и то, что дровам, работе нет конца.

Мускульная упорная работа алкоголь из организма выгнала. Луныков уже не задыхался, не обливался десятью потами – подсох, окреп, бежал с дровами по мосткам с упругостью стальной пружинки. Кукушкин даже еле поспевал за ним. Не мог отдышаться, скидывая дрова у штабелей. «Ну ты даешь... Игорёк!» Луныков смеялся. «А ты, Ваня, не пей!..»

В обед Кукушкин опять тархтел. Что тебе коробок со спичками. На жизнь свою смотрел как только что проснувшийся и высунувшийся из кровати младенец. «...Просыпаюсь – а они уже на разложенном диване. Играют. Мне быстро бутылку кинули, заглотив, просыпаюсь – Машка одна. Улыбается... Присни-илось... А? Заварзин? – И он смеялся. Как всегда торопливенько. Слово уже летя с горячей крыши. Полыхайчиком. «Хахахахахахахахаха!.. А это еще, дальше, Заварзин! Ночью... Иду – он стоит. Машкин хахаль! Я ему р-раз! Он стоит. Только мотнулся. Что такое? Я ему раз! раз! Опять стоит! Оказывается – в дупель пьяный... А-амба-ал... Тут – мне – Машка – бутылку – кинула: просыпа-аюсь – на полу я уже. На цементном: с нар слетел. Камера! При-исни-илось... А? – И опять летящим полыхайчиком: – Хахахахахахахаха!»

Луныков лежал на подтоварнике, на настиле, смеялся вместе с Кукушкиным. Но постепенно голосок того куда-то сдвинулся, тархтел словно бы в стороне, и Луныков, охватив затылок, уже мечтательно щурился на обессиленную после дождя простоквашу неба.

...Люба, какое счастье вновь обрести себя. Ощутить всего себя. Ощутить каждый мускул, мышцу. Чувствовать всю крепость, свежесть своего тела... Ведь я забыл уже, что мне только тридцать... И все это – работа. Работа в радость, в очищение...

Как никогда, он верил в эти дни, что скоро все изменится у него, круто повернется. Даже приходя после Щекотиhi вечерами в сторожку, приходя всегда усталым, голодным, разворачивая бумагу с какой-нибудь едой, – он брезгливо смахивал на пол синюшные конфетные обертки и жаловался жене. Жаловался уже как человек, который вот пришел домой, пришел после тяжелой работы, а тут... опять эти бумажки!.. И почти ежедневно кидаются они ему на стол! До каких пор? Будет ли покой рабочему человеку?

...Люба, поверишь? Ведь у него двое детей. Дво-е. Девочка-школьница, а мальчик ходит в детский сад. Молодая жена. Молодая!.. И – эта Скальп. Этот индеец в юбке... Как понять таких людей? Что это – любовь? Скотство?.. Ведь работают вместе. Он – прорабишка, она – бухгалтер. Замужем. Тоже, наверное, дети есть. И как вот это все... совмещается?.. Да-а, людишки... Или еще один экземпляр. Роберт... Тоже – совершенно непонятен. Впервые встречаю человека, у которого теща, понимаешь? теща! не сходит с языка. Не жена – теща! «Афдеч, тещу каблируй! Афдеч – мешок гречки для тещи! Афдеч – теще тёсу! Теще – цветной!» И вот телевизор теще цветной везет, тёс и гречку. И «каблировщика» в придачу... Да что там за теща такая! Что за любовь такая к теще? Где у него жена? Жена? Есть ли она?.. И еще: «Ох и ручечки, ох и ручечки, Заварзин!» И мечется, дергает стеклянные эти ручки на дверях гримуборных... И ведь дня не проходит! Как это понимать? Ненормальный?.. «Ох и ручечки, Заварзин, ох и ручечки!» Да оторви ты их, раз жизни без них нет!.. Прости, Люба, раздражен я сегодня. Тут приходишь с работы, а тебе... опять «розы любви» на столе... Да еще синюшные! Прости...

После ужина Луньков выходил на крыльцо. Окинув себя плащиком, садился на ступеньку. Доставал сигареты... Задувало в сизом холоде одиноко тлеющие сентябрьские звездочки. В ночном окне через проулок из притемненного уюта комнаты к прилежному мальчишке склонялась женщина в прохладном ласковом халате. Тенью к сыну присаживалась. Свет лампы, замерев в высоких, взбитых ко сну волосах, освещал чистое лицо матери... Сын быстро охватывал мать. Всю-всю!.. И опять старательно продолжал выводить в тетрадке...

* * *

В то утро привычно уже Луньков спешил к остановке. Кисели дождя умывали кучерявые, как русские праздники, наличники деревянных домов. Сплывала чистая вода с промытых до щербатин тротуаров, кипела на дороге.

Сами собой складывались строчки к жене:

...У нас еще теплые дожди, Люба. Словно очищающие землю. Врачующие ее. Даже грязи вокруг как-то не замечаешь. Только теплый дождь и теплая парная осень по деревьям и земле... Удивительная осень в этом городе, удивительная...

Сойдя с автобуса на конечной, пошел по вымытому булыжнику под уклон, к тонущей в дожде реке. Слева, прямо от дороги, лезла в гору деревянная промокшая Щекотиha.

С неба сильно прибавило – дождь ударил с длинным косым промельком. Шумок поднялся в ржавеньких яблоневых садах. А Луньков шел, мок, улыбался.

Возле раскрытых железных ворот в товарный двор нахохливался Кукушкин. В великом, явно с чужого плеча пиджаке, в сатиновых каких-то шароварках, как в спустивших гондолках; драповая промокшая кепка свисала в виде хоботка...

Увидел Лунькова, сразу заспешил навстречу. Не поздоровавшись даже, быстро повел его от товарного двора.

– Слушай, Игорь! Не ходи туда. Облава. Милиция. Дружинники. Без документов – налево, как говорится. Конец квартала – недобрали...

Торопливо шли.

– Но как же так? – бормотал Луньков. – Ведь я ему платил. Ведь семь рублей из десяти... Ведь он обещал!

– Кто? Бригадир-то? Он наобещает. Он с вас, бедолаг, шерстку-то и стрижет... Да и участковый в деле...

Остановились. Ждали чего-то, горбясь под дождем. Кукушкин, словно боясь обидеть, осторожно стал «объяснять»:

– Все дело в паспорте, Игорь. В паспорте. И тут уж – никуда. Я вот и пропойца – а паспорт, прописка. Да и здесь, на товарном, в штате. Грузчик... Так что ноги в руки – и айда, Игорек. Мой совет.

К Лунькову подступили слезы.

– Спасибо, Ваня, спасибо. – Неожиданно для себя тонко выкрикнул: – Век... век не забуду! – И от этих не своих слов заплакал.

– Ну что ты, Игорек. Не надо. Зачем? Подождет – приходи. Скоро хозяйева со всей Щекотихи хлынут – знай дровишки развози! И никаких ведомостей. А потом – пилить, колоть... А? Приходи!

– Спасибо, спасибо, тебе, – все бормотал, всхлипывал Луньков. – Спасибо... спасибо, Ваня...

Кукушкин смотрел на уходящего к Щекотихинской горе Лунькова. Потом зачем-то снял тяжелую мокрую нелепую свою кепку. Непонимающе разглядывал ее... Как убитую птицу, перекинул через забор.

Стриженный, круглоголовый, избиваемый дождем, пошел назад. К раскрытым воротам.

Луньков не совсем отчетливо помнил, как вернулся в город... как почему-то опять очутился на той же остановке, от которой полчаса назад поехал в Щекотиху... Дождь прошел. К канализационной решетке, скручиваясь в жгуты, летела грязная вода. В тихие лужи на тротуаре втыкались одиночные капли.

Подошел автобус. Безотчетно Луньков двинулся к нему. Но у раскрытой двери стал. Потирал лоб, словно не мог вспомнить что-то...

Его отшиб в сторону толстый мужчина с красной папкой, неуклюже, бегемотом, полез в дверь.

Луньков пошел прочь. Посмеивался, хитро поглядывал на встречных сумасшедшенькими глазами.

...Люба, – он влез. Он с красной папкой. Понимаешь? Он успел. А твой поезд, Заварзин, ушел. Давно ушел. А наш поезд летит! Мы в поезде!.. А? И везде пресловутый поезд... А надо ли? Люба? Поезд-то, может, давно под откос

летит... Но несутся, колготят, радуются. С трибунами, графинами, докладами. Орут песню: мы в поезде! Наш паровоз, вперед лети!..

Мы же все флюгерки! Люба! Искренние, трепетненькие флюгерки! Только бы дунуло откуда чуть – и подхватились радостно в пустопорожнем ветерке: мы все летим! В коммуне остановка!.. Вторичны мы. За нас всё решают. Мы ждем только. Головками вертим. Улавливаем дуновеньица. Ветерки. Чтобы преданно затрепетать...

А сколько на земле работы, просто дел, а не пустопорожней этой трепотни. Вон, в Щекотихе... И там нельзя, оказывается, мне. Зато все: «В поезд! В поезд!» – вытаращив глаза.... «Уйдет! Ухо-о-одит!» Эх, Люба...

Часа через два он сидел на небольшой театральной площади, на скамейке, перед зданием странной архитектуры. Полупровалившись к тому же в овраг. Здание имело название «Институт культуры». Стилизованные светильники были при нем – как пажи при пьяной голове Шекспира в шляпе... Луньков замороженно смотрел...

...И не то страшно, Люба, что в жизни моей теперешней начнут копать чужие равнодушные люди. Копаться, как в грязном белье. Что полетят запросы на бывшую мою работу, в паспортный стол, к тебе... Начнутся всякие очные ставки, опознания... Заполыхает тихонькое злорадство сослуживцев, знакомых. («А вы слышали: Луньков-то – вот это да-а...») Обрадуется твой чертов Михалев... Да что мне до них! И стыда у меня перед ними нет. Как их в моей жизни и не было.) И не страшно, Люба, что – посадят. Просто посадят, в конце концов. (Не зря же время милиционеры потратят, разыскивая меня?) Страшен стыд твой за меня. За мужа такого... Стыд перед собой, перед подругами, соседями... Перед гадом Михалевым... Вот это для меня страшнее смерти...

Девушка в больших прозрачных очках шариковой ручкой «посадила» Лунькова в планчик зрительного зала крестиком. Потом медленно стала надписывать ему билет на сеанс. Рядом с девушкой отложена была сиреневая книга. Луньков, постукивая пальцами возле коробочки в кассу, прочел буквы вверх ногами: «Ж. П. Сартр. Слова».

Уже подавал билет на входе... и повернул назад, быстро вернулся к кассе. Заглядывая словно бы за стекло, пытался что-то понять в планчике на столе перед девушкой. И уже понимал, уже открывал в нем неожиданную, проступившую закономерность – ни один крестик не соприкасался с другим. Каждый был отдельно. Каждый в крохотном, но отдельном пространстве. Раскиданы были они. Все раскиданы. Как на карточке спортлото!..

Девушка, оторвавшись от книги, подняла глаза, которые как-то бережно стали покачиваться за сильно увеличенными стеклами очков. Как в физиологическом прозрачном растворе... Луньков быстро улыбнулся ей. Отошел.

«Так-так-так, – бормотал, лихорадочно соображая. – Значит, чем больше теперь в кучу, тем дальше друг от друга. Даже в кинотеатре!..»

Как и ожидал – человек двадцать мужчин и женщин были раскиданы по всему залу. Как фигуры шахматные по демонстрационной доске. И над всеми свет промелькивал – словно руки. Словно руки шахматиста, спрятавшегося в будке!.. Луньков вертел головой, не мог успокоиться...

* * *

Лишь к вечеру Луньков брел своей улицей к сторожке. Окна домов, так радовавшие его утром, уже не казались праздничными – облезлая зеленая и белая краска на резьбе окон высохла, шершавилась, стекла зачернели, стали тайными. Да и деревья вдоль дороги без дождя поблекли, висели тряпками.

...Да он же ленту на магнитофон поставить не умеет! Магнитофонную ленту! Включить магнитофон не знает где! Как!..» Дескать – недотепа. Что с него взять?.. Это ты, Люба, – обо мне. Гостям... А те в хохот: ну не козел ли этот Луньков! И где только произрастал?

Ну, конечно, когда твой Михалев, взгромоздясь, наконец, на индивидуальный стульчак в баре, стал смаковать свой кальвадос... то сразу с верхотуры-то и зреть стал ширше, и вникать глыбже... Он обрел свободу. Полную. Внутрочерепномозговую! Ну просто же всё, граждане, единоличный каждому унитаз в баре, да чтоб повыше он был, под самый потолок, свой кальвадос – и свобода. Вот так, Луньков!.. Или: четверо молодцов насилуют, избивают гитары на эстраде, а тысяча у их ног – как одуревший планктон... А? Свобода же, братцы! Раскованность полная! Пада-бада-тиба-дада-та-а!.. А ты, Луньков, козел. Не дорос до нас. Пада-дада! А наш ударный магнитофонный эксгибиционизм? Луньков? Тибда-дада! Бывало, выставишься в окне с магнитофоном – и вся округа от тебя балдеет! Тада-дада! Слабо тебе?.. Козёл...

Эх, Люба, ущербное это все, жалкое. Ведь убери от такого «меломана», что называется, объект, людей убери (скажем, отправят вдруг всех на картошку... весь город!), и тут же вырубит свой магнитофон. Тут же вырубится!.. Голову можно на отсечение дать! В полном смущении утихнет... У него же слуха на музыку нет. Вот в чем его беда. Подлинного слуха. Извращено все... Но зато: пада-бада-тиба-дада-та-а! Да круглые сутки чтоб!

Ну а я?.. Куда уж мне. Вырос я (как ты считала и не раз подчеркивала) «в полнейшей ни-ще-те». И мать у меня была – матерью-одиночкой. И родила меня в свои сорок два года («Ужас!»). И так называемого отца я в глаза не видел. И на магнитофонах я не играл – не было у меня их просто, как и телевизоров. Все верно. Но не нужны они нам были. Понимаешь? Не нужны. Мы читали. Книги. И тем счастливы были... А вся ваша барабанная маскальтурка тарабанькалась мимо нас. Для нас ее просто не было. Не существовало...

Признаюсь, Люба, тебе еще в одном своем «тяжком» грехе: долгое время я избегал смотреть телевизор («Ну и козел, Луньков. Вот козёл-о!»).

В классе восьмом еще я как-то возвращался поздно вечером домой из школы. Тоже осень была. И вот вошел уже в свой двор – и остановился как вкопанный: весь двухэтажный развеселый коммунальный дом наш – как замер: из всех окон вверх закинулись сизые отсветы. Из всех, до единого... «Ты будешь говорить?! Отвечай!!» – вдруг проорали все окна разом. И опять только сизое из них, как из поддувал...

Я ближе подошел – увидел всю семью Кононовых. За окном, в первом этаже... Они как затонули в этом мертвом свете. Затонули как в денатурате. Неподвижно, нереально, навечно. И сам Кононов, и жена его, и бабка, и трое кононят впереди на стульчиках... И тут меня, что называется, «пронзило»: да ведь сейчас, в эту самую минуту, в эту самую секунду тысячи, сотни тысяч,

миллионы Кононовых и кононят... по деревням, селам, по городам, по всему Союзу вот так же сидят и мерцают в этом денатурате, заполнившем комнаты... В одно время, в одну минуту, в секунду! Понимаешь?.. И мне стало страшно... И я избегал этой мертвечины. Долго избегал. Не признаваясь себе – боялся. Как боятся некоторые люди – с детства боятся – попов, церкви, нереальной атрибутики внутри нее, всяких там обрядов, отпеваний, служб... Понимаешь, боялся, что она, мертвечина эта, проникнет в меня. Напитает, отравит. Сделает вот таким же мерцающим болваном...

Надо представить только это, Люба... Суррогат, стереотипы, конформизм – на небывалом потоке. На сверхконвейере. Представить только надо...

Конечно, скажешь, чокнутый, шизмен. Но сейчас во время родной нашей всемирной бомбы каждый ходит, наверное, по краю своего безумия. Каждый ждет, нутром ждет – эту висящую над ним, готовую вот в следующий миг сорваться, всемирную, последнюю свою секунду... Вот таковы, так сказать, этюды обыденной нашей жизни... Но трясется, пляшет, воеет ваша маскультурка. А заодно «спасается», на перепуганного Бога, как на заложника, насадив хипповый, весь в бубенцах, пиджак... Грустно это всё, Люба...

* * *

У калитки стоял грузовик. Роберт сидел на крыльце сторожки. Курил.

– Где болтаешься? Час жду...

Поехали в Песчанку.

Холодильник Луньков втащил в частный дом, в комнату, тесно заставленную мебелью. Опуская его на подхват Роберту, вяло подумал: «И здесь склад. Только мебельный...»

– С японским агрегатом, мама, с японским! Бар будет теперь, бар! – лаял Роберт теще, закатывая холодильник в простенок между сервантом и еще сервантом.

Личика засуетившейся как ветерок тещи Луньков разглядеть не смог. Да все и так ясно. Чего тут еще! Налетая на шифоньеры (два, три ли их тут!), вышел.

Когда вернулись в город, Роберт остановился у гастронома. Видя, что Луньков взялся за ручку, чтобы выйти, придержал: «Погоди...» Вытянул сигарету, пачку подал Лунькову. Прикурили от одной спички. Роберт устало облокотился на руль и неожиданно задумчиво, без обычной своей чечетки, заговорил: «Жаль мне тебя, парень. Честное слово, жаль. Ведь халупу-то твою скоро ломать начнут. Крышу снимать. Внутри все переделывать. Надстраивать два этажа... Нужда в тебе отпадет. Куда пойдешь? (Луньков напряженно молчал.) Кошелев тебе не говорил, конечно. И не скажет. Зачем? Выкинет в последний момент. И «заварзин» твой кончится. А тут – зима, морозы... Куда?.. Да-а, худо твое дело. Худо. Нарочно, как говорится, не придумаешь... (Луньков все не поднимал глаз, забыв про сигарету.) Документы тебе надо, парень. Настоящие документы. Для этого деньги нужны. И не малые. А вот где их взять?.. Тут думать надо, парень. Крепко думать... – Роберт сделал несколько затяжек, повернулся: – Что молчишь? (Луньков не мог сказать ни слова.) Да-а, жаль мне тебя, парень, жаль. Недогадливый ты. На вот. Опохмелись...»

Машина рванула с места. Луньков постоял. Потом пошел к гастроному. Робертовых денег было на три портвейна. Но что-то удержало Лунькова, и он не

свернул к винному отделу, где уже перед семью, поглядывая на милиционера, осторожно подавливались мужички. Купил только батон и два плавленых сырка.

Ночью не мог спать. Он понял слова Роберта. Понял намек. «Ведь он убьет меня, если я помешаю. Убьет! – металось в голове. – Вот тебе и «ручечки стеклянные», вот тебе и страстное дерганье их почти каждый день. Он уже знает, где сейф Кошелевых. Он вычислил его!»

И – как жаром обдало: «Да ведь он... ведь он дал на три бутылки. На три! Значит – чтобы я был вверх ногами, а он в это время... Да он же сегодня придет. Сейчас!»

Луньков сел... И сразу же в двери царапнулся ключ. У Лунькова все внутри оборвалось: дверь же закрыта! закрыта! там ключ! (чуть не кричал) ключ! Ключ оставлен в замке!.. И тогда дверь потянули и пошевелили так, что задергался еще и крюк в петле.

Отчаянно Луньков вспорхнул в темноте. Замер... Вытянув руки вперед, покачиваясь всем туловищем, как болванчик, прокрался к окну. Чтобы высмотреть, высмотреть!.. Тут же назад отпрянул – ведомый светом уличного фонаря, таким же болванчиком, точно свершая вдохновенную китайскую церемонию, кланялся с вытянутыми руками Роберт... В кепке голова остановилась, застыла прямо у стекла окна. В профиль. С открытым ртом слушала... Вдруг Роберт повернулся – и точно в упор глянул на распростершегося, сразу как под потолок подвесившегося Лунькова.

«Но ведь там дальше окно есть! Окно! Со стеклом! – маялся Луньков. – Ведь он там может влезть в окно! Зачем же он сюда лезет?!» Луньков все ждал чего-то, не верил, надеялся. И сердце бухало, лезло к горлу...

Из коридора костюмерных прилетел далекий хруст стекла. «Точно! В окно полез!»

Луньков заметался. Искал чего бы в руку!.. Выхватил из-под стола портвейную бутылку.

Сунулся в коридор. Резко выдохнул. Словно освободился от себя. И воздушно пропрыгал по темноте... Подкрался к выпавшему из раскрытой двери сизому свету. Заглянул...

За высоким навалом декораций, в окошке под потолком, ворочалась, черно запечатывая всё, тяжелая тень. По стеклу чем-то елозили. Стамеской или ножом. Уже отгибали гвозди...

Безбоязненно как-то Луньков вошел в костюмерную. С разведенными в стороны руками. Как бы спрашивая у кого-то: да что же это такое? И про бутылку в правой руке забыл.

А стамеска уже пела на высоких тонах, деловито счищая замазку. И непроизвольно Луньков вдруг стал подпевать. Стамеске. Старался в лад. Мучился, как пёс, зажмуривался, кипел слезами...

Стамеска остановилась. Словно бы недоумевающая, вслушиваясь. Луньков тоже оборвал. Оба ждали. Один снаружи, на окне, другой – внутри, внизу, в черноте бутафорской... И Луньков не выдержал – запел. Уже один. Забирал голосом выше, выше... «Заварзин! Заварзин! – забубнил было Роберт, приликая к стеклу, пытаясь разглядеть. – Это я! Я! Роберт!» Но вместе с воем из черноты к нему уже летела, кувыряясь, длинная портвейная бутылка. И отбросило его от стекла, и взорвалось всё с неожиданностью и грохотом гранаты.

Луньков кинулся назад по коридору, в сторожку. Дрожа, высматривал Роберта в окно. Протрещало что-то во дворе стройки. Еще какой-то шумок возник и пропал за дальним забором. И всё. Тихо стало. И не было будто ничего, и не было будто никакого Роберта. Вот да-а...

Во дворе стройки вдруг забесновался трельчатый свисток. Возле темной бытовки. «Милиция, – похолодел Луньков. – Уже примчались!» Снова. Еще сильнее. Тут же что-то упало в самой бытовке. Внутри. И свист оборвался... «Сосе-ед!» – явственно вылетело из темной форточки бытовки. И с новой силой засвистело. «Сосе-ед!»

Луньков ломался, гнулся, заходился в хохоте. Падал на стол. Как припадочного, его подбрасывало на диване. А к нему все летело и летело из раскрытой форточки бытовки: «Сосе-ед! Соседушка-а-а!» И снова посвистывало.

Потом в бытовке он отпаивал старуху чаем. Сам долго не мог прийти в себя.

Рано утром, после звонка Лунькова, Кошелевы примчались на своих «Жигулях». Метались по коридору, зачем-то открывали все двери гримерных, распахивали бутафорскую, лезли по наваленным декорациям к выбитому окошку. Проваливаясь в декорациях, ломая их, орал на Лунькова и снова бегали.

Сильно тужась, семеня ножками, сами потащили сейфик, накинув на него тряпку. Кричали Лунькову, чтобы открыл калитку. Потом чтобы держал дверцу машины. Гришка один, взяв сейф на пузо, задвинулся с ним в машину и упал на заднее сиденье. Лежал на сейфике раком. Как баба. Тяжело дышал.

В проулке показался грузовик. В кабине – настороженный Роберт. Кошелевы сразу кинули на сейф тряпку, захлопнули дверцу машины.

– Ты чего заявился?! Кто тебя звал?!

– Так за реквизитом, Афдеч! Вот – по списку. Сам вчера дал...

– Ну забирай и уматывайся! – орал Кошелев. – Чего стал?!

Роберт остро прищурился на Кошелева, отер перебинтованной рукой губы. Пошел к крыльцу. Выходя обратно с какими-то алюминиевыми трубками, вроде не замечая Лунькова, который хмуро стоял у дорожки, процедил сквозь зубы: «Прихлопнуть бы тебя, сволота, да сам скоро подохнешь».

Кошелевы ждали. Пока он уедет. Старший оберегал в кабине сейфик, точно ребенка. Потом резко развернулись и рванули в другую сторону.

* * *

Луньков запил. Два дня и две ночи пропивал он и подлые деньги Роберта, и свои – горбом заработанные в Щекотихе.

Первые полдня, казалось, только и делал, что лихорадочно бегал к гастроному и обратно – бутылки в сторожке на столе копились, точно на конце конвейера. Быстро опоражничались. Требовали новых, более мутных, тяжелых.

Потом, вопреки всегдашней своей, за мышинные годы натренированной осторожности, пошел болтаться по городу. Пьяный.

В кассе совсем другого кинотеатра совсем другой девице – испуганной, вскочившей, – разоблачающе грозил пальцем: «А-а! Сартра читаешь! А сама что

делаешь? А сама? Почему – вразброс сажаешь, а? Почему – вразброс? И-ишь ты-ы!..»

В большой толпе на остановке метался среди шарахающихся от него людей. В закинувшейся на затылок шляпке, распаренный, как ангел. «Мы вместе! Товарищи!» Хватал их за руки, за плечи. Словно пересчитывал. «Мы вместе, вместе, товарищи! Спасибо вам! Спасибо! Мы вместе! Я теперь спокоен! Спасибо вам! Абсолютно спокоен!.. Я...»

Счастливым, плача, уходил от толпы, оборачивался, вздергивал поротфронтски кулак, снова шел, всхлипывал, шептал что-то... Как его не избили в тот день, как не замела милиция – одному создателю известно.

Другим же днем, весь отравленный, красно поддутый винными парами – висел в сторожке на стуле. (Дым от забытой сигареты словно торопился напитать, еще больше отравить безвольную, свисшую руку.) Ударенный подряд двумя стаканами портвейна, почти не слыша себя в образовавшемся красном гуле, он однако пытался писать в тетради и давал вдобавок «звуковое письмо»:

...И вообще ты, Люба... дрянь... Эта... как ее? Любка! Вот... Стерва... И плюю я на тебя с самой высокой колокольни. И не спорь! Я знаю! Точно! Вот так!.. И на Михалева твоего плюю! М-михалев... И с такой вот... б-белогвардейской фамилией он – мужчина. А я, я, Луньков, советский – нет... Да-а-а... Да его же не видать, он же микроскопичен, как мушка, как блоха, которую надо – ногтем, ногтем! Вот так! Так!.. И ты – его подруга. Его подстилка. Его Скальп. Не спорь! Я сказал! Точка! Вот так!.. А я – разрюмился тут, сопли распустил по всей тетради. Не спорь, я сказал!.. Я, между прочим, в СМУ теперь, Любовь Ивановна. Скрывал. Начальник объекта. Не спорь! Я знаю! И ежемесячно – 260 – пожалуйста в кассу, Игорь Петрович. Вот так! И любок таких, как ты, у меня – сотни. Полный объект. По всем этажам. Бегают, снуют, понимаешь... Любую малярку беру, прораба Гришку со Скальпом беру – и ко мне. А они в джинсах обе. На каблучках. Идут-цокают впереди. Тощие. Как ковбойские седла... Дома забавляемся.. Вот так! И не спорь! Я знаю!..»

Еще пил. Раскачивался на стуле, выкрикивал. Шариковая ручка в его руке, как сама по себе, дергалась в тетради. Потом вздрагивала, рывками везлась по странице, чиркнула и упала с рукой со стола. Луньков обвис на стуле, как после пытки...

В свете лампы в окне через дорогу, с болью прижав к себе притихшего сына, покачивалась мать. Словно вдруг испугалась чего-то. Тоскующе смотрела в темень за окном.

* * *

Очнулся на третий день к вечеру.

Стоял, смотрел на опрокинутую, влипшую в разлитое вино бутылку... С испугом не понимал шизического, начерканного в тетради... Полнясь алкогольными своими слезами, медленно сдирал, комкал страницы.

Однако это не помешало ему через несколько минут нахватать по всей сторожке в мешок бутылок и помчаться их сдавать.

И только в тесном дворе, перед обшарпанной хибаркой с висящим уже замком, опомнился он. Сидел на пустом винном ящике, отворачиваясь от липнущих отовсюду окон дома, неверной судорожной рукой отирал платком пот... С тихим

стекольным кляком рассыпал бутылки по траве возле хибарки. Подумав, бросил там же и мешок.

Выходя со двора, увидел, как какая-то старуха уже ползала на коленях, собирала его бутылки в свою сумку. Торопилась, озиралась по сторонам. Как собака, первой набежавшая на объедки и хватаящая их... Луньков отвернулся. Задирая голову, словно потеряв зрение, пошел.

...Когда я встречаю, Люба, старых опустившихся людей, – которым уже наплевать, – когда я вижу какого-нибудь старика, отрешенно бредущего в своих ботах «прощай молодость», я вспоминаю свою мать... Нет, она не бродила в последние годы свои в драной обуви и с драными хозяйственными сумками. Прожила жизнь достойно, на пенсии держалась стойко. Но я вовек не забуду, Люба, как она... как она танцевала на нашей с тобой свадьбе. Танцевала по моде 20-30-х годов, прискакивала в вальсе. И эта прискачка ее была страшной... Она в не ее была. Вне состояния ее на нашей свадьбе. Безвольно помнило эту прискачку только старенькое ее тельце. Которое алчно охватывал какой-то расклеротившийся старикашка из вашей родни...

Господи, кто мог понять ее тогда, в расшурованной уже, уже обязанной прокуролесить свадьбе?.. Ее – седенькую, в каком-то своем креп-жоржетике, точно в мешочке... танцующую как в бреду, с закинутыми... с распятыми! словно глазами, в которых прыгало с нелепой этой прискачкой только одно: «у меня нет больше сына! нет больше! нет больше! нет!..» Гос-по-ди-и!..

А ты смеялась, Люба, глядя на нее. Хихикала. С наивностью недалекой простушки. Подталкивала меня локтем... О-о-о! Каково ей было на этой свадьбе! Ей, – родившей сына в сорок два года! Родившей в долгих муках, с большой кровью! Ей, – теряющей сейчас его, свое единственное оправдание на этом свете, свою мечту, надежду!.. Ведь она сердцем чувствовала, что сын ее не в свои сани сел. Сердцем! Знала, знала уже тогда, чем всё закончится!..

«Скучно на этом свете, господа», – сказал русский наш великий писатель... Нет, Люба. «Грустно... Больно на этом свете» – надо бы сказать... Очень больно, Люба...

Луньков шел, сморкался, вытирал глаза. Остановился на углу. Куда идти – не знал... Как часто бывало после запоев, подступил внезапный сильный голод. Пустой желудок, казалось, ссохся как грушка. Пылал. Луньков сглатывал и сглатывал слюну. От слабости обдавало потом, кружилась голова.

И дальше только голод толкал его с одной улицы на другую. От одной забегаловки к другой, к столовым, к кафе... Но за окнами везде стояли или сидели люди. Много людей. И по малой опытности Лунькову казалось, что *осуществить это* там нельзя. Не получится у него.

Старался не смотреть на столики, проходя мимо бесконечного ресторана. Везде за ними колготили, насыщались, радовались люди. Мужчины, женщины. Поторапливались озабоченно официантки с подносами, обкормленными едой. Сытые философные бармены болтали коктейли... И опять на пути возникали столовые, где к раздаточным в нетерпении теснились люди. Все с железными подносами. Как с откованными, по меньшей мере, индугенциями в рай.

Уже в сумерках остановился перед крошечной закуской, запрятанной в тяжелое здание в центре города. И нырнул туда. А там, он помнил, было два зальца: налево – что-то вроде буфета, там полуфабрикаты, всегда очередь, и направо – как

бы столовая: с раздаточной, с горячим, с пятком высоких мраморных столиков...
Луньков шмыгнул направо.

В углу у окна ели две полные женщины со свежими одинаковыми, наверное, только что из парикмахерской, прическами. На раздаче суетилась повариха. Она была к Лунькову спиной.

Луньков подошел к ближнему столику. Слил с двух тарелок в третью, пустую. Схватил ложку, торопливо начал хлебать...

– Нет, ты посмотри, а? – как ударили слова из угла. – Ты посмотри!.. Да сколько же их, паразитов? Вот только тебе рассказывала про такого! И вот еще один... В шляпе... Нет это невозможно!

Послышался даже звяк брошенной ложки. В тарелку.

Луньков застыл, дожидаясь новых слов, продолжения, («Ну же! Ну! Давайте же! Давайте!»), дико смотрел в стену, вымазанную краской точно сизым салом... Сглатывал, сглатывал подкатывающую тошноту...

По улице бежал, удергивал за собой рвоту, распугивая прохожих, пока не припал к урне...

Потом сидел в чухлом раскидавшемся сквере. Весь промок и растопырился напротив через аллею свилеватый клен, уже оббитый осенью. Такой же одинокий, голый, над ним загнулся и зяб фонарь.

Поза Лунькова была вольной, отдыхающей: ногакинута на ногу, со спинки скамьи свисла рука. Но торопящиеся две девчонки на каблучках и в плащиках... как споткнулись об него. Каблочки растерянно постукали по асфальту и стали... «Смотри, – плачет... Может, подойдем? А?» – «Что ты – пьяный!» – И девчонки застучали каблучками дальше.

Кистью руки Луньков отер щеки, глаза. Поднялся. Пошел. Пошел, как разучившийся ходить старик, – шаря дрожащими ногами. Свистели дырявые кеды на холодном мокром асфальте. Луньков запахивал полы плащешки, зажимал озноб.

...А помнишь, Люба, как мы с тобой были в ЗАГСе? Нашу с тобой регистрацию? Как от волнения, а может, просто от неловкости, я выронил кольцо? Когда нужно было уже одеть его тебе?.. Как скакнуло оно и покатилось по залу, по паркету, к двери, и все немо смотрели, а я бежал и бежал за ним и никак не мог подхватить?.. Как смеялись потом все в буфете. («А что, если б закатилось под стол с распорядительницей? А жених ползает под столом, ищет?») И твой отец уверял всех, что к счастью это, к счастью! И как потом он вздергивал ко всем почти пустой свой бокал: «Ваше здоровье! Ваше здоровье! Будьте здоровы!» – И рука его, облитая шампанским, была как замороженная. А он все вздергивал бокал. И смеялся, и всхлипывал. А мать твоя все пыталась вытереть эту морозистую паутину с его рукава платком... Да-а, Люба. Его бокал, как он вскидывал им, его замороженную ужасом руку я тоже не забуду никогда... И к счастью все было у нас, Люба, к счастью. Во имя светлой памяти родителей наших – только к счастью...

* * *

Мальчишка сидел у настольной лампы и готовил уроки... И глядя сейчас на склоненную голову, на беззащитную худую шейку, видя, как мальчишка откидывается от тетрадки в затененное тихое счастье свое и любит написанным... Луньков с болью опять ощутил, что и он, теперешний Луньков, был

когда-то Игорем Луньковым. Игорёшей. Игорьком. Был таким же худеньким мальчишкой, с маленьким своим, нетребовательным, тихим счастьем...

...Господи, Люба, ведь каждый пьяница был ребенком. Нельзя без боли подумать об этом. Осознать без боли его незнание еще... Доверчивое, раскрытое всем... И не забыть никогда этого своего далекого, теплящегося в ночи счастья... Ведь до конца жизни будет глотать вина перед этим далеким мальчишкой, доверчивые глаза которого в беспутстве своем ты подло обманул, предал, пропил...

Луньков набычивал голову, опять вытирал кистью руки слезы.

Поднимался уже на крыльцо, доставал ключ... и остановился – пыльная мешковина во все стекло окна задохнулась электрическим светом... «Господи, ну сколько же можно! Ведь хватит на сегодня, хватит!»... В тоске маялся на крыльце, долго не заходил в сторожку...

Кошелевы сидели на диване. Который у окна. Сидели развалившись. Как после бани свекольные оба, налитые. На столе стояли водочные две бутылки – одна уже пустая, другая пустая наполовину. Валялись желтые огрызки огурцов, полкольца не сожранной еще колбасы.

«Обделали дельце. Обмывают». Тихо Луньков сказал: «Добрый вечер». Повернулся к ним спиной. Вытирал ноги о половичок. Снимал, вешал плащ, шляпку. Прошел к своему дивану, приглаживая волосы. Хотел взять журнал и уйти в коридор костюмерных...

– А-а! – словно только сейчас увидев его, воскликнул Гришка. – А вот и автор долгожданный! А вот и сам писатель!

Напрягшись, выдернул из-за спины своей толстую тетрадь Лунькова в коричневой истершейся обложке.

– А вот и сам роман гениального автора! А вот сейчас и читаем...

Луньков кинулся отнять. Гришка резко пхнул его ногой. Искал, листая. И вскинул руку с тетрадью:

– Вот это! Вот – гениальное!.. «У нас еще теплые дожди, Люба. Светлые, грустные. Очищающие словно землю. Душу. Даже грязи вокруг как-то не замечаешь... Только теплый дождь и теплая парная осень по деревьям и земле... Удивительная осень в этом городе. У-удивительная!» А? Ха-ха-ха! Или вот. Вот еще! Гимн труду... «Люба, какое это счастье вновь обрести себя! Ощутить свое тело! Ощутить каждый свой мускул! Мышцу! И все это, Люба – ра-бо-та. Работа в радость, Люба, в очищение...» А-ах-хах-хах-хах!

Как пойманный, Луньков метался по комнате. Весь дрожал, дергался лицом. «Да сколько же можно измываться над человеком? Где предел издевательствам над человеком? Где предел всемирному этому садизму?» Казалось, он забыл про хрюкающих над тетрадкой Кошелевых. Но подскочил к ним, застенал:

– Ну зачем это вам? Зачем? Вам?! Отдайте! Прошу!..

Сел. Прямой. Отвернулся. Как залубенел, плача.

– О-ох-хох-хох! А вот еще, еще! Торжественное! Клятва!.. «Люба. Ты – единственное, что осталось у меня на земле! Тоска моя по тебе, любовь моя к тебе – бес-пре-дель-ны!».. И-их-хих-хих-хих!

Луньков вскочил. Лицо его перекопилось. Луньков оскалил зубы:

– Ненавижу!.. Слышите?!

И – как плюнул:

– Опившиеся клопы!

– Что, что ты сказал? – легко взнялся к нему Гришка. – Ну-ка, повтори...

– Опившиеся... щекастые... похотливые клопы!.. Ненавижу!

От пощечины Луньков подскочнул. Защищаясь, выкинул вперед руки в нелепой боксерской стойке. Прятал, прятал в них голову. «Бейте, бейте, гады!» – Кулаки дрожали, вскидывались, вскидывались...

Гришка раздернул руки Лунькова и с раскачкой, резко ударил снизу вверх. Лунькова ослепило, отбросило на мешки с тряпьем. Он сполз на пол. Гришка наскочил, с размаху ударил ногой. По ребрам. Еще раз. Под дых. Еще... Луньков сгибался, дергался. Без воздуха. Синий...

– Ну хватит, хватит! Убьешь, – оттащил Гришку Кошелев.

Но Луньков полз к ним, икал красной пеной, сипел: «Нена...ви...жу... слышите?... нена...ви...жу...»

– Убери его! – попятился Гришка. Слезливо выкрикнул: – Убью ведь!

– Ну-ну, – приобнял, как маленького успокаивал сына отец. – Послезавтра ведомость подпишет – и к чертовой матери!

Они быстро рассовали по карманам водку, огурцы, колбасу, сдернули свет и вышли.

Луньков вздрагивал, затихал на полу. Ненави...ижу... ненави...ижу... сво...олочи...»

* * *

Высоко полыхающая раковина словно заглатывала и заглатывала кидаемые Луньковым тетрадные исписанные листы. Потом пущенная из крана струя воды прибавала черный хлопьевый пепел, вгоняя его в дырки раковины.

Стоял у окна перед недвижимым сизым утром, забыто правя в стакане бритвочку.

Установив на подоконнике сколотое зеркало, брился. Промыв в банке станок, сложил в коробочку, опустил в карман пиджака. Уже одетым, выходя, наткнулся взглядом на журналы в углу на полу. Вернулся, начал собирать.

Ключ Луньков бросил на крыльцо. Открыто. За калиткой перешел с журналами через дорогу, оставил их на завалинке. У окна. Мальчишке. Мальчишка вскочил из-за стола. Во все глаза смотрел на Лунькова. Словно в растерянности узнавал его. Луньков стоял... «Прощай, мальчишка».

И сторожиха тоже немо смотрела, забыв про чайник в руке, как он проходил проулком, как затем свернул за угол дома и пропал...

Около пяти под дождем он долго ходил возле главпочтамта. Никак не мог решиться. Ринулся, наконец, к двери. Дергал ее. Дергал. Не ту половину. Да где же тут?! Ворвался внутрь. Метнулся дальше, к стеклам:

– Девушка, вот мелочь, вот! Конверт дайте, конверт! Скорей!..

– Здесь только четыре копейки. Еще две надо.

– Я занесу, занесу, девушка! Пожалуйста. Скорей... И бумаги, бумаги какой-нибудь!..

Луньков отошел к столам. Сел... И... и в единый дух написал: «Люба, я в городе Т...ске. Если есть желание – напиши. На главпочтамт. Заварзину В. Т. (Это для меня будет.) Жду. Очень жду. Игорь». Запечатал все. Притиснул конверт к столу. словно чтобы ничего не выскочило из него обратно. Написав адрес, широкими шагами подошел к щели в стене с надписью «для междугородних». Сунул конверт. Отступал от стены к выходу, зачем-то отирая руки о грудь, тряся ими. Как будто стряхивал воду. Или кровь.

На улице не знал – куда теперь? Что? как?..

Медленно пошел. Не замечая, забредал в большие лужи, в самый бой дождя, посмеиваясь, выпрыгивал обратно, дальше шел, улыбался встречным людям под зонтами, звездился в дожде как ангел...

...Люба, что же теперь будет? Как я рад и как мне страшно почему-то. Ведь нет теперь пути назад. Вот уж воистину все произошло с неотвратимостью письма, написанного в прокуратуру и... и брошенного в почтовый ящик... Всё. Теперь все пойдет вне меня, неотвратимо. словно на небеса я написал. И ты там – прокурор. И ты решишь теперь, решишь. Люба, как я рад, счастлив. Господи! И жутковато мне, и радостно...

У центральной гостиницы увидел большой красный автобус до аэропорта – и сразу как ударило: съездить! Узнать! И уже побежал было к нему, фыркающему гарью, но вспомнил про рубль, который надо платить в этом автобусе. А рубля-то и не было. И доморощенные вылупились по окнам иностранцами. «Вот так, товарищи, – подмигнул им Луньков. – В кармане мир-дружба...»

Через полчаса он болтался на задней площадке обычного, рейсового, полупустого, тоже трясущегося в аэропорт. Улыбался хмурящейся, глаза уводящей кондукторше, взгроможденной высоко на сиденье у дверей. Предупреждая ее «позыв», обезоруживающе признался:

– Да, у меня нет билета. Вы угадали. И денег нет. Ни копейки. Но какой сегодня день у меня! Какой счастливый день!

Его подкидывало на ямках, он смеялся, отворачивался к окну, махал рукой и ею же смахивал слезы. К редким просиням между тучами с мольбой тянулись пролетающие голые тополя... Кондукторша крепче ухватилась за штангу: «Ненормальный! Из дурдома!»

...Я теперь все время, Люба, так: то ли смеюсь, то ли плачу. Сам не пойму. И с памятью стало странно: из института почти ничего не помню. Всё абракадабру какою-то... Ну не забавна ли жизнь моя? Люба!

Луньков громко засмеялся.

Кондукторша опасно напряглась. Луньков разом оборвал. Но слова к жене неудержимо неслись дальше, и он, точно подхваченный ими, только испуганно прыскался смехом, однако тут же выказывал большие честные глаза кондукторше.

...Люба, я вообще часто помню то, о чем навек бы забыть. К примеру: мы с тобой идем по лесу на дачу к Тиуновым, с рюкзаками, устали уже... Проходим дачным поселком. Какой-то парень кричит вдруг тебе: «Красивая! А ну помоги!» Помнишь? И ты подошла... и присела к нему. (Удерживала там какой-то брусок, в который парень начал забивать гвозди.) Я глаза вытаращил: поразила готовность твоя, с которой ты присела...

Луньков смеялся, сжимала глаза боль.

Кинулся я помочь... «Отвали! Она подержит!» Каково! И ты держала все так же послушно. С лица парня слетали ухмылки. А я метался вокруг. Все хотел поднять тебя. Поставить как-то... Чтоб не сидела ты, чтоб не сидела!.. Потом я бежал рядом с тобой, заглядывал тебе в лицо и все пытался понять твою эту готовность. Бежал и заглядывал как дурак, у которого увели жену. Ну не забавно ли?..

Забыв про кондукторшу, Луньков уже хохотал. Как лаял.

Кондукторша побурела:

– Тебя высадить?! (С сидений начали выворачиваться головы.) Вон КПП! Живо остановлю!.. Не к добру смеешься, пареньь...

– Знаю, знаю – не к добру, – поднимал, сдаваясь, руки Луньков. – Знаю. Извините, забылся.

Он отвернулся к окну, схватился за поручень. Пролетела высвеченная башня КПП, внизу, в шлеме – остолоповый гаишник.

И к побитому уборкой полю в кукурузных будылях сразу начал отовсюду наползать предночный сизый туман. Морок.

* * *

Когда он высмотрел в высоком расписании свой город с прямым рейсом к нему по вторникам, четвергам и субботам, когда оказалось, что лету до него всего полтора часа – сдвинулся в сторону, пораженный. *Господи, Люба, всего полтора часа... Три года разлуки... и полтора часа...*

Он прошел к справочному окну. За стеклом сидящая в форменном кительке девушка выдала ему прямо в ухо. Из репродуктора: «Пятьдесят два рубля, пятьдесят копеек!» Цена билета была внушительной. *Но все равно, Люба, все равно только самолетом! Ведь полтора часа. Всего полтора часа. Я буду возить дрова с Кукушкиным. Пилить, колоть. Неделю, две, месяц. Но я заработаю эти деньги, заработаю!.. И на одежду ведь надо приличную... Нельзя же так к тебе... Но ведь только подумать, Люба: полтора часа, всего полтора часа!..*

Луньков ходил вдоль касс, вдоль очередей, завязших в багаже, меж шныряющих туда-сюда людей, на него налетали, сталкивали в сторону, он улыбался извинительно.

Остановил его милиционер. Но и тут он довольно удачно назвал точный номер рейса. «Ночной рейс, товарищ милиционер. Из Новосибирска. Ночной. Встречаю». Суетливо заглядывал в нахмуренное южное лицо с усами, разглядывающее его липового «заварзина» Уже как заклинанием частил: «Какой день у меня сегодня, товарищ милиционер! Какой день! Ведь три года не виделись! Три года!» Неслушающейся рукой заталкивал удостоверение обратно в карман. Во внутренний. Пошел, наконец. Малодушно оглядывался. Не спуская с него глаз, милиционер уже объединился с другим милиционером. Своим двойником. Таким же усатым, южным...

Однако проходили в это время две подсобницы с кухни. Призывно смеясь, покачивали не без кокетства пустым алюминиевым бачком... Лица милиционеров сразу сделались лунными. Подобравшись как коты, милиционеры мягко пошли следом, на ходу правя усы...

Луныков жадно курил на воздухе возле стеклянных дверей. Тут же ходили еще какие-то люди. Все темные. Каждый сам по себе. Ударяясь о свет из вокзала, вертелись резко, механистично. Подобно отстрелянным мишеням. И так же механистично из иллюминированной хибарки в углу площади била музыка:

«Астанависься, сеньора! Астанависься, сеньор!..»

* * *

Уже после двенадцати, пригнувшись, точно разглядывая свои кеды, Луныков покачивался в кресле на втором этаже аэровокзала среди соловящих от ожидания и бессонницы людей.

...И все дело, наверное, Люба, что не было у нас с тобой детей. Ребенка. Нашего ребенка... Ты не хотела. А остальное все – следствие... Перед живым созданием – родным, маленьким, нашим, я думаю, просто не возникло бы у нас всех тех взаимных преувеличенных ожиданий, претензий, обид. Всего того стражденького эгоизма любви между мужчиной и женщиной, который и растолкнул нас в конце концов... Перед маленькой этой жизнью, созданной нами, пестуемой нами... перед доверчивыми ее глазами всё было бы это, наверное, глупо, мелко... и пошло...

Как нередко бывает после задержек по метеоусловиям, после того, как проплакались, наконец, слезливые аэропорты, начали объявлять рейсы. Один за другим. Подряд. И словно дождавшись какой-никакой успокоенности после возникшей взбаламученности людской, к освободившемуся ряду напротив Луныкова зашаркались два древненьких старичка. Годами уже оголенные. Уже как птенцы. Один повыше маленько, другой пониже немножко. По-стариковски растопыривались, топтались, долго усаживались. И помогала им, ласково оберегая, пожилая женщина. Полная. Уселись, наконец. И женщина – рядом. Старичок, который поменьше, сразу же со смешками, бесшабашно как-то забормотал. Веселенький приплюснутый носик его был как отметка. Как царская медалька.

«...Хех-хех! Ну, мы ей и отписали, так и так, Машка, бросай халупу свою – и к нам вали! У нас норма-ально, жизнь, хех-хех, кормят три раза, мясное даже бывает, по субботам баня, хех-хех, этот... как его?... телевизор... один на всех, в общем – живи не хочу! Х-хех! Приезжай! А она, оказывается, очочуркалась, хех-хех. Пока письма-то ходили, она и того – каюк. Хе-хех. Бесполезно всё оказалось. Без толку. Х-хех. Да ты не грусти, земляк, – видя, что слушающий «земляк» опустил голову, подбодрил его веселенький, – привы-ыкнешь! Хех-хех! – Похлопал по плечу: – У нас норма-ально! Жизнь! Лес кругом, овраги... свалка рядом... воронья – тыщщи, хех-хех! Верно я говорю, Семеновна? – выглянул к сопровождающей. «Да помолчал бы ты, Никиша! Вечно пугаешь новеньких. Вы не слушайте его, товарищ Сокол. Он наговорит...» Товарищ Сокол еще ниже опустил свислый свой нос. А Никиша все балагурил: «Ты не бойся, товарищ Сокол! Хе-хех! С такой фамилией-то? Да все перепелки наши твои! Кхех-ех! У нас их тьма! Так и пурхают, так и пурхают, песочком за собой посыпая! Хех! Пользуйся! Все твои! Уступа-аю! Х-хеех! А, Семеновна?... Х-хее-еехх-хех-хех!» – «Да будет тебе, Никиша», – изо всех сил старалась сохранить серьезность, но уже фыркала, отворачивалась сопровождающая.

Луныков смотрел, умилялся. Но когда Сокол, наслушавшись всего от Никиши, с отчаянья ли, с тоски ли обреченно выворотил из газеты курицу – жареную, золотистую – Луныков встал, сразу выбрался из рядов. Вцепившись в перила, завис

над нижним этажом. Пустой желудок уже не жал – спазматически дергался. Как неуправляемый, чужой. Измученно Луньков тянулся взглядом к буфету слева. Пытался вспомнить, сколько суток не ел.

Буфет просвечивал сквозь декор из загогулистого железа, струящегося с потолка и увешанного горшочками с плетью цветов; в сторону зала вообще все было открыто, из буфета, казалось, зримо выкатывались волны кофе...

Теряя волю, он уже подвигался и подвигался к буфету, к терпкому запаху. *Люба, прости, последний раз. Клянусь... Последний раз... Не могу...*

Ухватил с пустого кресла брошенную кем-то газету. Стал у крайнего чистого столика, прикрываясь газетой, «читая».

Кроме озабоченной буфетчицы, которая все время подтирала тряпкой текущий кофейный агрегат, только в центре стояла и ела какая-то девица. («Это хорошо! Это хорошо!» – опять как в закуской несколько дней назад залихорадилось у Лунькова.)

В обширном, косоплечем каком-то пиджаке, в коротких наплывных брючонках, застегнутых у колен... с украшениями в ушах, как с яхтами... была эта девица как-то неуместна еще, преждевременна, что ли. Как рождественская елка летом. И ножки в гольфиках при ней – как красные свечи... Зато остальное всё – для турбазы: через плечо сумка «вильгельм-телль», берет на голове – лихо-косо. («Это хорошо! Хорошо! На турбазу едет! На турбазу! Женихов стрелять! Это хорошо!»)

Девица подносила куриное крылышко к своему лицу – и близорукий взгляд ее как-то замирал во вместительных очках. Словно слушал себя. Берег... И как растение распускался. И девица брала зубками от крылышка кусочек. Где-то видел Луньков все это, видел. Этот плавающий взгляд, эти очки... (В кинотеатре видел, в кассе, когда покупал на фильм билет.) «Да ладно! Ладно! Потом! Потом!» Он выглядывал из-за газетки, сосредоточивался на «задачке».

Рядом с буфетом какой-то мужчина в форменном плаще летчика и фуражке гнулся с трубкой в кабине междугороднего телефона-автомата: «Ты слышишь, что я сказал!.. Да где?! Где?! Какая подруга до сих пор! У вас четвертый час ночи! Какая?!» Он вслушивался в ответ, потом снова точно лез в трубку: «Слушай, Верка, ты ее сестра, родная сестра, ладно – согласен... но если... если ее не будет... слышишь... если ее не будет через полчаса дома!..» Снова слушал. Опять прямой, длинный. Точно подперев в кабине упрямо свое, слепоту. И вновь кричал, сгибаясь: «Ты запомнила, что я сказал?! Повторить?!..»

...вот, Люба, тоже драма... Как у нас когда-то. Уже назрела...

Луньков хмурился. Не знал, куда смотреть. И не заметил, как этот мужчина в лётном вышел из будки. Как стоял он, тупо уставясь в потухшее стекло кабины. Как возник потом у буфета, и буфетчица отвешивала ему яблочко... И Луньков вздрогнул, когда мужчина с тарелкой яблочка вдруг встал за его столик. Именно за его, Лунькова. Хотя кругом было полно свободных...

Луньков сразу прикрылся газетой. Не выглядывал из-за нее. Что-то резко щелкнуло. Заскрипело очищаемое яблоко.

Луньков ожидал увидеть боль, страдание, растерянность хотя бы, но лицо мужчины было сужено и зло, как нож, который он сжимал в руке, которым механически, не глядя, чистил яблоки одно за другим. Чистил и вгрызался в них крепкими зубами. Вверх-вниз ходили большие уши. Как черепаха, грозилась стронуться и поползти большая форменная фуражка...

...Вот, Люба, вряд ли он понимает сейчас, что ест... Давно я заметил – у многих так. При большом волнении начинают есть. Жрать...

В буфет вошел солдатик. В кительке он, со значками, в глаженных брючках, аккуратненький, чистенький. Как луна – улыбающееся лицо. Ненец или якут. В руке чемоданчик... Взял у буфетчицы кусочек курицы в гофрированной тарелочке, хлеб и два стакана кофе. Все это перенес к дальнему столику. Не забыл и свой чемоданчик – задвинул его под столик... Снял, положил рядом фуражку и, окинув взглядом все высокое стекло, за которым как штора висела ночь, начал не торопясь есть.

Вдруг мужчина в лётном бросил нож на стол и двинул к телефонной будке. И почти сразу же со вспыхнувшим светом послышался опять его влезавший в трубку голос: «Верка, ты запомнила, что я тебе сказал?!»

Нож был красивый, богатый. С множеством назначений. С раскрытым большим главным лезвием в яблочной жижице, с массивной красивой костяной ручкой. «Дорогой, – подумал Луньков. Хотел погладить... словно на морской раковине белые пупырышки на ручке... и появился хозяин. Но прошел дальше!

– Товарищ! Товарищ! Вы оставили! – Луньков поспешно вытер лезвие, протянул мужчине нож. Ручкой вперед: – Дорогая вещь...

С какой-то брезгливой злобой мужчина вырвал у Лунькова нож, защелкнул лезвие, кинул в карман плаща.

Через минуту он стоял со стаканом кофе за столиком с низеньким якутом. Сам длинный, сумеречный, непримиримый. «Да что он лезет-то к людям! Сколько угодно свободных столиков...»

А якут уже пил кофе. Блаженно, растроганно. Как любимый свой чай. Большими глубокими глотками. Как бы приговаривая при этом: хараша-а... Выпил оба стакана. Смотрел на них, поикивал от сытости, думал, видимо: а не выпить ли третий?

* * *

Когда девица, утомившись борьбой с крылышком, отошла, наконец, от столика и стала выводить помадой что-то очень томное (на губах)... когда Луньков, боясь, как бы не убрали гофрированную тарелочку с объедками, сразу сдвинулся к ним и начал жадно доедать... якут словно ударился об него глазами – с растерянной улыбкой смотрел, раскрыв рот... Луньков стал давиться, кашлять. Хватал газету, закрывался, продолжая толкать, толкать объедки в рот.

Якут тут же подошел к буфету, сунул деньги, взял тарелочку с курицей, хлеб и, показывая все это Лунькову, поставил на соседний столик. Как зверьку, который не возьмет с человеческих рук... Все так же не сводя глаз с растерявшегося Лунькова, улыбался ему, кивал ободряюще головой. Потом пригнулся, левой рукой взял чемоданчик, а правой шарил на столе фуражку... И столкнул вдруг фуражкой стакан с кофе. Прямо на мужчину в лётном. Его стакан. Ему на живот. На белую рубашку!.. Забыв Лунькова, бросил все, кинулся с платком вытирать рубашку. Мужчина ошарашенно пялился себе на живот. Вдруг с маху, снизу вверх, ударил по круглому усердному лицу. Якут, как-то медленно запрокидываясь, увозя ботинки, повалился и ударился головой о низкие батареи. В лётном прыгнул к нему. Пнул. Раз. Еще раз... Солдатик скорчился, зажался...

Все это произошло мгновенно, молчком. На глазах у всех... В перекрестье вытянувшихся отовсюду взглядов – мужчина замер. Как клубок, в спицы

схваченный... Но словно раскинул все, расшвырнул. Пошел уверенно к лестнице. Длинный, в форме. Но лестницу мыла уборщица. Возила мокрой тряпкой на палке. Везде было влажно, чисто... И в лётном, потоптавшись, пошел к другой лестнице, чтобы уже там спуститься на первый этаж. И разинувший рот Луньков не мог даже сначала осмыслить, уложить в голове эту его чудовищную... воспитанность, эту его чудовищную деликатность с уборщицей...

...Как же так, Люба? Да он ли это? После всего, что он только что сотворил. Это же невероятно!..

Луньков подбежал к якуту, помог подняться, усаживал на низкий подоконник, к стеклу. «Сейчас, сейчас, паренек! Он ответит! Не уходи! Никуда не уходи!» Метался, выкрикивал людям: «И вы, вы, пожалуйста, не уходите! Сейчас, я сейчас!» Кинулся вдоль всего этажа. Той же дорогой, к той же лестнице, куда полминуты назад играючи спустилась наглая, плюющая на всех фуражка.

* * *

Внизу было полно народа. На объявленные рейсы все еще шла регистрация. Везде к стойкам, к весам стояли очереди. С чемоданами, с большими сумками, с коробками, мешками... С натугой вышел откуда-то турист. За спиной у него – натуральная гора Кара-Дага. Увешенная альпенштоками, веревками и котлами. И от тяжести ее турист уже качался, явно падал. Но на него набежал Луньков... Кинулся, подхватил. Помогал. Сбросили. Уже не слыша прохрипевшего «друг!», дальше, дальше продвигался. Снова побежал, высматривал, искал длинного в лётном.

Увидел его возле раскрытого киоска с газетами и журналами. Вместе с другим уже летчиком. Невысокого роста, плотным. Выбирали газеты. Длинный, посмеиваясь, похлопывал плотного по плечу. Корешил. Взяли газеты и... дальше пошли. К выходу из аэровокзала!

Луньков догнал. Шел сзади. Как-то глупо в ногу с ними. Мучительно зачем-то пытался определить – кто старше из них по званию? У плотного полоски на погонах шире как-то были. Луньков стал трогать его за рукав:

– Товарищ, товарищ!..

Плотный остановился. Обернулся. И мгновенно чем-то сроднился с Кошелевыми...

...Глаза, глаза у них одинаковые, Люба, глаза, нагло заголенные, в рыжих веках... Так один же монетный двор, Люба! Одной чеканки медяшки!..

– Товарищ, простите, товарищ. Вы ведь начальник вот этого... товарища? То есть я хотел сказать – вот его? Так ведь? Верно я сказал?

– Ну, допустим. Дальше что?

– Сейчас, вот только несколько минут назад он... вот он... вон там, наверху, на втором этаже... Он избил, он чуть не убил человека! Вот только что... Сейчас!

Начальник быстро глянул на кореша. «Кореш» нахмурился.

– Да не видишь – бич. Пьяный... Иди проспись, огрызок!

И они пошли дальше.

– Нет, постой, гад! Постой, не уйдешь! – Луньков начал хвататься за длинного, бессвязно выкрикивать: – Товарищи, товарищи! Сюда! Сюда!

Сразу придвинулся один гражданин. Еще несколько зевак. И в очереди все повернули головы...

– Ну ладно, – буркнул плотный. – Не ори. Пойдем. Разберемся...

Все двинулись наверх.

* * *

При виде, казалось, отовсюду нахлынувших людей во главе с безумным Луньковым солдатик-якут испуганно остановился на середине буфета, зачем-то поставил на пол чемоданчик. Снял фуражку... Мял ее, опустив свою лунообразную стриженую голову. Начал отворачиваться, всхлипывать. Как прощения у людей просил, каялся. Раздутую верхнюю губу его трясло, скашивало набок...

– Вот... вот этого паренька... – глотал слова Луньков. – Из-за стакана кофе... нечаянно пролитого им... Нечаянно!.. – Луньков с ненавистью глянул на длинного в лётном: – Вот этот... л-летчик... вот он!

– Ну ты-ы! – выдвинулся длинный.

– погоди, – остановил его начальник. К Лунькову повернулся. Сытый. Насмешливый: – А кто видел это? – И уже с ухмылками вел взгляд по лицам людей. И люди почему-то опускали, вводили глаза. Прятали. – Так кто? – снова повернулся к Лунькову.

– Да все видели, – с улыбкой изумился Луньков. – Вот видели. Вон там сидят, видели. Вон, буфетчица...

Плотный подошел к буфету.

– Вы видели... что-нибудь? – с нажимом и вежливо спросил у буфетчицы.

И та от пронзающей этой вежливости, экипированной к тому же в аэрофлотскую форму, смутилась и поспешно забормотала:

– Ничего я не видела! Повздорили тут, но там и не летчик был, ничего я не видела!

У нее вдруг сам собой зашипел, закашлял кофейный агрегат, она начала приседать, выключать там что-то, подтирать. Прикрывалась им, пряталась.

Начальник повернулся к Лунькову: вопрос исчерпан, уважаемый!

У Лунькова сжались глаза: да это же заговор...

Бросился к рядам кресел. К сидящим там пассажирам:

– Товарищи, товарищи! Да они же заодно! Вы же видели! Ведь из-за меня, из-за меня всё!.. Он хотел мне! Курицу! Понимаете?.. А этот гад его... Ну ладно, я пропал, я погиб, ладно... Но вы же люди. Разве можно это оставить? Он же фашист! Он чуть не убил! Человека!.. Люди! Помогите!

Начали было восставать два героя Шипки, затоптались даже, поспешно расправляя усы, но были тут же сдернуты на место сопровождающей. Резко заплакал грудной ребенок. Напуганный выкриками Лунькова. Мать заторкала его в руках. Взглядывала зло на Лунькова: разорался тут...

И всё? Весь ответ? Людей?.. Луньков растерялся.

– Я... Я видела! – слышалось от буфета.

Все повернулись к девице. В очках которая. С яхтами на ушах. В гольфиках, в штанишках. В косоплечем пиджаке.

– Я видела. Он сначала ударил... в лицо. Потом на полу... ногами...

Луньков подбежал к ней. Затряс ей руки:

– Вот хорошо! Правильно все! Сартр – гуманист! Великий гуманист! Можно сидеть в кассе, зато читать Сартра! – Он смеялся, подмигивал девице: – Они считают меня сумасшедшим. Они поднимают громадины в небо, а на земле пинают людей. Они все могут... Но нет, не выйдет. Не пройдет у них. На сей раз не пройдет.

Повернулся. Отчаянно, радостно разглядывал обоих:

– Что? Может и меня... того... в морду? На глазах у всех? Его избили – чего теперь стесняться? А? Ха-ха-ха! Вас же летчиками язык не поворачивается назвать... Длинный и плотный! Ха-ха-ха!

– Заткнись ты! – прошипел плотный. Зло озирался по ногам людей. Приказал: – В отряд! Там разберемся!

И пошел, окруженный зеваками. На плетущегося рядом солдата, на спотыкающуюся девицу внимания не обращал. Он даже забыл про своего штурмана, который дергал его за руку, порывался что-то шепнуть. Ему был важен этот. Зачуханный интеллигентиска в шляпчонке. Которого не остановить. Здесь, на людях. Который уже забежал вперед и выкрикивает по-прежнему, сволочь, что он «не сумасшедший» и что «у них не пройдет»...

* * *

Когда прошли по всему первому этажу – зеваки куда-то пропали. Растворились. Как и не было их вовсе... Луньков кинулся к двери с табличкой «милиция» – плотный ухватил, отдернул от двери:

– В отряд, я тебе сказал! – Толкнул вперед. И они начали зачем-то впадать в полутемный уже ресторан – Луньков, за ним эти двое, потом солдат и девица. Луньков в недоумении оборачивался. «Дальше! Дальше! – махал ему рукой плотный.

В полутьме две уборщицы в испуге распрямились с тряпками. Из угла кто-то крикнул: «Куда?! Все закрыто!..»

А они все шли и шли, стремительно, не останавливаясь, какими-то бесконечными коридорами, коридорчиками, круто сворачивая и вновь идя прямо, мимо каких-то плоских кафельных комнат, где в пару и чаду сновали белые пятна поварих, мимо закутков с резкими вспышками света. И, оборачиваясь, Луньков так же вспышками запоминал, как сначала плотный на ходу повернул девицу и толкнул куда-то в боковой коридор, как он же потом, тоже на ходу, совал солдатику что-то, и тот вдруг остался далеко позади, растерянный, с чемоданчиком, с красной бумажкой в руке – точно брошенный на дороге... И с болью Луньков ощутил, что и солдат, и девица, и избиение в буфете, и все последующее... всё это было и не было, всё это осталось там, на дороге, вместе с солдатом и девицей, и вернуться туда невозможно, и тащит его вперед уже что-то другое, названия которому нет, но отступить от которого нельзя, невозможно, преступно. И все это другое тащит он сам, Луньков, тащит вперед, и от него ни за что не отступится. И, холодея, Луньков чувствовал только, как зло спотыкаются за ним эти двое, как жадно слушают они его выкрики, пытаюсь понять, уловить для себя самое важное, главное, и уже готовят ему свой ответ... Но Луньков все выкрикивал как заведенный, Луньков все «разоблачал»:

– А-а! Пареньку червонец в зубы, а девицу в шею! Чтоб до утра там ходила в коридорах! Ай да ловко! Ну ловкачи-и! Вчера бы вы и меня купили! С потрохами купили! За трешку, за пятак! Да сегодня я другой. С сегодняшнего дня другой! Понимаете ли вы это, подонки! Ведь полтора часа, только полтора часа – и я уже не Заварзин! Нет такого Заварзина! Никогда не было! Останется только вот эта липа! Вот эта грязная замызганная книжонка, которая именуется «заварзиним»! Которую я рву! Рву! Вот так! На ваших глазах! Натте! Ловите! Изучайте! Ха-ха-ха! Понимаете ли вы это? Вы, хозяева жизни! Только полтора часа! И у меня тоже будут теплые дожди. У нас с Любой будут теплые дожди. А вы – ответите... Не-ет, спускать вам нельзя. Больше нельзя. Слишком многое вы захапали. Жрете, давитесь, а все нажраться не можете... Не-ет, нельзя-а. Ни за что... Сейчас дойдем, и вы ответите...

Луньков выпал из торца здания в темноту, в дождь.

– Так где же ваш отряд липовый? – повернулся к обоим.

– Вон... там... – Плотный махнул рукой в сторону далеко мерцающей диспетчерской вышки.

– Это «отряд»? Да это же каракатица иноземная! Братцы! Только что прилетела! За двумя своими мутантами! Скорей!..

Опять быстро шли. Шли по кипящему в дожде бетону, подпираемые в спины прожекторами от аэропорта.

...Люба, никакого отряда не будет. Они не знают, что со мной делать. Они будут предлагать деньги. Потом будут бить. Но я не отстану от них. Ни за что не отстану. Ползком поползу, но им не отвязаться от меня. Нет!..

– Слышите, вы! Ведите меня хоть куда: в отряды ваши, в диспетчерские вышки, но вам не избавиться от меня. Ни за что не избавиться! Не пройдет у вас! Слышите?!

– Давай, давай! Шагай!

Наконец, как по команде, все трое стали. Луньков медленно повернулся... Освещенный – против двоих в белом дожде...

– Что-о – дальше некуда? А? Куда теперь? В какой отряд?..

– Ну, вот что... друг... – тяжело заговорил плотный. – Как я понял, тебе надо в С...вск... Рейс через час... Денег у тебя, понятно, нет... Так вот, мы покупаем тебе билет, сажаем в самолет... и больше никогда не видим... Понял – никогда!

– Ха-ха-ха! Люба, они все покупают! Они привыкли все покупать! Они даже солдатика купили. Избили – и тут же купили. Тот даже не понял, что с ним произошло... А? Могут, Люба, мо-огут... Но не выйдет на сей раз, господа Кошелевы!.. Не пройдет!..

– Чего же ты хочешь?! – повысил голос плотный.

Двое сжимали газеты как сизые факелы...

...Люба, ведь это...

– ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ?! – словно прокричал весь мир поднебесный.

– Да сука о-он! – слезливо выкрикнул длинный. Как мучительно объясняя плотному, раскрывая глаза ему. – Су-у-ука!..

Он подскочил к Лунькову, ткнул в бок. Назад отпрыгнул.

Пятились оба от зажавшегося, с разинутым ртом Лунькова, который словно отпускал себя резко к земле и тут же на ноги вскакивал. Падал на колени и снова вскакивал, к небу закидывая голову...

Двое повернулись, пошли. Побежали...